

Анцар

Жолымбетов



ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...

Рассказ

В Алма-Ате в начале семидесятых был введен в эксплуатацию большой многоэтажный монолитный дом, построенный буквой «Г» и с округлым углом разворота. Главное крыло этого дома с арочным проездом ориентировано на улицу Джандосова, меньшее – на Жарокова. Нижний этаж по одну сторону арки занимают супермаркет, ресторан национальных блюд и с полдюжины бутиков, за витринами которых торгуют одеждой, книгами, цветами; по другую, меньшую, что стеклами на Жарокова, расположился почтамт. Место это людное. Паркинг плотно забит машинами. У входа и на каменных ступенях, что ведут к стеклянным дверям, толкуются бесчисленные покупатели. В летнем кафе в тени балдахина люди потягивают воду, пиво, коктейли, устроившись в пластиковых креслах за круглыми выносными столиками, ведут пустые, малозначительные разговоры, смеются какому-нибудь анекдоту. Когда же, укрывшись от солнца, в середине лета совершенно невыносимого, за одним из столиков сойдутся два-три старожилы из местных, седые, медлительные от старческой полноты, со взмокшими лицами, и вспомнят о былом, то речь непременно пойдет о странном происшествии, случившемся именно здесь, на этом перекрестке, в годы строительства этого дома и имевшем самые печальные последствия.

Когда-то давно на углу этих улиц под сенью яблоневых садов в едва ли не сельском однообразии и скуке проводили жизнь частные домостроения с полуразрушенными на задах курятниками, дровяниками, угольными сараями. За воротами изредка лаяли собаки, голосили петухи. Позже здесь долго зиял котлован, глубокий и немислимо обширный. А еще позже место это превратилось в строительную площадку, обнесенную глухим высоким забором, сколоченным из досок и выкрашенным в синюю краску. Вот тогда-то и случилось то, о чем и по сей день не могут забыть местные обыватели, в начале семидесятых оказавшиеся в эпицентре удивительных слухов, в которых фигурировали и этот забор, и якобы нарисованный на нем человек. Загадочная история, скорее напоминавшая небылицу, закончилась трагически. Потерпевших усиленно обсуждали, жалели, но винули их же самих, уверяя друг друга на кухнях или в бесконечных магазинных очередях, что пьянство до добра не доводит. Некоторые при этом выражали неудовольствие властями. Другие валили всё на судьбу. Находились и такие, кто



безапелляционно заявлял, что причиной всему послужил изображенный на заборе человек из известного тогда мультфильма «Человечка нарисовал я».

Правда, не очень-то верилось, что выведенный мелом простой и бесхитрый рисунок, если только он не был объявлен государственной ценностью, запрещенной к вывозу, мог сыграть какую-либо заметную роль в каком бы то ни было происшествии.

С другой стороны – почему бы и нет?

В те годы забавного этого человечка, раскинувшего по сторонам черточки рук и ног, набросанных мелом или даже обломком кирпича, можно было увидеть где угодно: и на стене многоэтажного дома, и раскатывающего зайцем на боку трамвая или автобуса, и уж, конечно же, на заборах – бетонных, дощатых, любых; и всюду-то он под зонтиком, в шляпе-котелке, что делало его похожим на какого-нибудь джентльмена с Уолл-стрит, и, естественно, с жизнерадостной улыбкой на узком и вытянутом лице, напоминающем цифру ноль, кривую и с невольным уклоном вправо, как в школьной тетрадке.

«Точка, точка, запятая – вышла рожица кривая,

Палка, палка, огуречик – вот и вышел человечек!»

Порой его рисовали еще более выразительным, чем в мультфильме. Одним-двумя движениями руки. Было бы желание позабавиться. Какой-нибудь юный пионер, возвращающийся из школы, которому до зубной боли наскучили логарифмы или теорема Пифагора, набрасывал мелком этого человечка в одну минуту, иногда пририсовывая ему, помимо шляпы и зонтика, еще и огромные клоунские башмаки или усы, встопорщенные иглами, или огромные очки, размерами не уступающие окулярам телескопа, или даже гитару. В то время молодежь любила проводить досужие часы под бренчанье гитар, набиваясь всем скопом в какую-нибудь расшатанную дворовую беседку. Да мало ли что можно было пририсовать маленькому, лишенному голоса существу!

Героями этого происшествия (вернее – действующими лицами: какие же они герои – обычные выпивохи), к их несчастью, оказались два парня, Серик и Капочка, проживавшие совсем неподалеку от того места, в одной из хрущевок по улице Жарокова.

А дело было вот как.

Однажды ночью, предположительно около двенадцати, может, и позже, в немалом страхе два этих друга пытались скрыться от преследующего их автозака, принадлежавшего одному из городских медвытрезвителей. Едва ли не падая от изнеможения, пьяные, измотанные, с заплетающимися ногами, они неслись по безжизненным улицам, а голубой вместительный фургон с кроваво-красной надписью на борту «Спецмедслужба», словно какая-нибудь огромная акула, забавляющаяся с жертвой, следовал параллельно, выхватывая их из тьмы светом своих слепящих фар и вращающегося над кабиной прожектора. Машина сворачивала за друзьями то на одну улицу, то на другую. Сидевшие в кабине милиционеры издевательски им улыбались, скалили зубы, делали приятные лица, а когда оказывались поблизости, махали им форменными фуражками с золотистыми кокардами, как бы приглашая их прокатиться.

– Не могу, брат, – сгибался на ходу Капочка, отбрасывая полу куртки и хватаясь за бок, – колет, вот здесь.

Лицо его было бледно, искажено от страха.

Он спотыкался и едва не падал, тараша протрезвевшие и переполошенные глаза:

– Ой, не могу!

– Держись! – хрипел Серик. Он и сам был на пределе. – Братан, осталось немного!

Он оборачивался на стоны товарища, и в глазах его, мутных, возбужденных, по-казахски раскосых, проглядывали одновременно и жалость, и невольное презрение: слабак, блин! Чё за слабак! Худой, бледный, тени по лицу, как будто из него кровь выпили...

Сам Серик был достаточно высоким, тучным, с ожиревшими и расплывшимися мышцами, которые при беге неимоверно сотрясались по всему его немалому и крепкому телу, и весу в нем было под центнер. Однако, невзирая на годы, отданные пьянству, на одышку и даже на брюхо, что раскачивалось под вылезшей и разлетающейся над штанами рубашкой, чувствовалось, что он еще способен не только бежать, но и оказать сопротивление, если того потребуют обстоятельства.

– Капочка, брат, вон... вон уже Жарокова!

Пустынные в этот час улицы, фонари над тротуарами, мощные фары ближнего и дальнего света, прожектор, казалось, вращающийся на все триста шестьдесят градусов, которым была оборудована машина, не оставляли Серику и Капочке ни малейшего шанса. Куда бы они ни направили свои нетвердые, подгибающиеся ноги: в подъезд какого-нибудь дома, в подворотню, под деревья аллеи или скверов, тут же из кабины выскочили бы преследователи в погонах, моментально скрутили бы их и закинули в фургон. И только на углу улиц Джандосова и Жарокова, где стояла полная тьма, – видимо, лампочка согнувшегося под звездами фонаря была разбита или неисправна, – им и вправду представилась возможность скрыться от преследователей. Здесь под забором, за которым в отдалении едва-едва вырисовывался лес устремленной во мглу арматуры и угловатые контуры строящегося здания, они и нырнули в полосу темного, обширного кустарника.

Большие, взметнувшиеся выше человеческого роста кусты эти, ивовые и карагачовые, перемежающиеся с зарослями бурьяна, были идеальным местом для уютных посиделок. В глубине их всегда можно было обнаружить опрокинутый вверх дном тарный ящик из-под овощей или бутылок, похищенный каким-нибудь вороватым пьянчужкой с хозяйственного двора ближайшего магазина. Ящик этот, обыкновенно разбитый и расшатанный, с повывлезищими из деревянных планок кривыми и ржавыми гвоздями, аккуратно застился газеткой – вот тебе стол. Вокруг были натасканы кирпичи, составленные один на другой, или булыжники – вот тебе стулья. На каком-нибудь сучке, в листьях, доньшком кверху обязательно подсыхал стакан. Ни дать ни взять импровизированная гостиная под сенью густой и всегда приветливой зелени, послужившая немалому числу спивающегося народа. Понятно, затевались тут и драки, неслась нецензурная брань, звуки борьбы; детей сюда не пускали, а угол двух этих улиц на языке жителей близлежащих домов назывался «пьяным».

В этих кустах и очутились наши друзья. Каждый пруттик, каждый листик встретили их, словно родные. Где ползком, где на коленках, под сводами укрывшей их растительности, они устремились к забору. Там, в заборе, между двух раздвигающихся досок был лаз, организованный рабочими со стройки, которым, видимо, лень было тащиться в окружающую еще лишние полквартила к официаль-

ным воротам. Они рассчитывали пролезть в дыру и скрыться в бесчисленных лабиринтах строящегося здания.

– Да где же она, – выходил из себя Серик, взрываясь бранью, от которой у воспитанного человека заложило бы уши, – дыра эта? Падла! Менты поганые! Куда она подевалась?

Лаза не было. Не было нигде.

– Заколотили, заколотили! – стонал Капочка.

– Ну все, хана!

Серик схватился за голову, сел, замычал, как бык, потом торопливо вывернул карманы, сбросил мелочь, чтобы не досталась милиции, и куда-то исчез с криком:

– Бежим! В разные стороны!

А Капочка, совершенно потеряв голову или все еще веря в чудо, продолжал судорожно цепляться дрожащими от страха руками за заборные доски, за одну, за другую, пытаясь изо всех сил раздвинуть их или даже сорвать с гвоздей.

– Падла, падла! – выкрикивал он.

В эти минуты заросли, будто бы ножом, пронзил ослепительно белый, дымящийся луч прожектора, и смыкавшиеся у него над головой ветки и листья, казалось, вспыхнули в языках пламени. Капочка зажмурился, залег, прижался к земле. С дороги понеслись голоса, послышался шорох раздвигаемого кустарника.

– Ну что, видишь?

– Пока нет.

– А я вроде бы вижу. Вон, под самым забором.

«Кранты, – подумал Капочка, – кранты!» Его обуял страх. Не поднимаясь с земли, он сдавленно заскулил и механически стал биться о забор, причем с такой силой и так резво, как если бы хотел прошибить его насквозь, проклятый этот забор, оказавшийся ловушкой, пуская в ход и спитые, худенькие плечи, и ботинки на ногах, а то и голову. Из глаз брызнули слезы. Попасть в руки милиции и трезвому-то неприятностей не оберешься. А уж если ты под градусом, то эти, из вытрезвителя, душу вытряхнут, чтобы выбить из тебя пятнашку. Пятнадцать рублей!.. Такова цена за свободу, за ночь, проведенную в застенках. Нарочно охотятся на таких, как они с Сериком, выпивших, но на ногах. Потому что с тех, кто валяется по канавам да помойкам, взять нечего. Ему невольно представились глаза отца, грустные, опущенные долу. Высохшая отцовская голова с остатками редких, сивых, прилизанных волос. Его опухший, уныло повисший нос в фиолетовом сиянии. Он добрый, он умный. Но если его, Капочку, заметут, где ему взять деньги, эту огромную сумму, старому, конченому алкоголику? С работы его уволили давно и безвозвратно, мать бросила их, когда Капочке не исполнилось еще и пяти...

И Капочка зарыдал. Забился в истерике. Руки и ноги его, будто бы сами собой с грохотом и под взвизгивания, вырывавшиеся у него изо рта, начали колотиться и колотиться о забор; ему казалось, что он их разбил, и руки, и ноги, и во мраке кустарника, в сучьях которого белым матовым озером разливался свет, вот-вот потекут черные, блестящие струйки крови. Острой, невыносимой болью пронзило коленку, и он взвыл: «Мама, мамочка!» – как вдруг почувствовал, как доски забора внезапно подались, провалились, стали на удивление мягкими, вязкими, тягучими. Ему показалось, что он попал в цистерну с медом. В нос ударили невыносимые,

дурманные запахи не то раздавленной хвои, не то свежеспиленных деревьев, почувствовал, как тело его вслед за руками и ногами проникает в эту самую массу, и он куда-то ползет, ползет, утонув в ней, преодолевая ее сопротивление, передвигая коленками, руками и задыхаясь от странных этих запахов, и, словно помогая ему, его беспорядочным и судорожным движениям, его нежно и легко затягивает и подталкивает вверх какой-то киселеобразной и слегка покалывающей отовсюду кишкой. Потом неизвестно каким образом его развернуло, и он увидел под собою кусты как если бы вдруг нереально вытянулся в росте или его поставили на постамент. За массой кустов – перекресток в золотистых огнях, фургон ненавистного автозака, отливающий синью под далекими фонарями, с кабины которого шарил повсюду широкий, белый, ослепительный луч. Он замер, боясь пошевелиться. В зарослях, как будто собаки-ищейки, шныряли милиционеры, вооруженные фонариками.

И тут он увидел, как несколько блюстителей порядка обнаружили тело, обмякшее, без движения; оно лежало совсем рядом, под самым забором. Милиционеры склонились, проверили пульс, послушали дыхание.

– Вроде как труп, – проговорил один. – Может, операм сообщим, пусть разбираются?

– Или же мертвецки пьян! – пророкотал второй тихим раскатистым смехом. – Фу, блин, ну и вонища! И что они такое жрут?

– Ничего, на хате разберутся! – сказал третий с циничной ухмылкой, мелькнувшей и тут же исчезнувшей, как будто за пологом, в густых, черных и пронизанных светом листьях кустарника.

Несчастливого подняли за руки за ноги. Кусты затрещали, и его понесли к машине.

«Кто бы это мог быть, – подумал Капочка. – Неужто умер?..» Потом он увидел Серика, но уже вдалеке, на дороге. Большого, понурого. Взлохмаченная голова его безвольно свешивалась на грудь. Его вели к автозаку и подталкивали в спину.

«Слава Богу, не Серик», – облегченно подумал Капочка.

Молоденький офицер в лейтенантских погонах нашел какую-то куртку, поднял ее и начал осматривать на свету прожектора, и Капочка не без удивления узнал ее. Куртка принадлежала ему, старенькая, потертая, из плащевой ткани. Он называл ее «брезентушкой». Но когда он ее обронил? Ему казалось, он не снимал ее. «Брезентушку» унесли. И ему было жалко лишиться ее.

Несколько милиционеров продолжали обследовать кусты, и свет их фонарей то исчезал, то вспыхивал желтыми, прозрачными столбиками в путанной и темной их глубине. Неожиданно один из таких лучей, вынырнув из зарослей, ударил ему в лицо. Он в испуге зажмурился. Сердце его сжалось. Теперь заметут. Как пить дать! И он уже готов был бежать, драться, царапаться.

Но странно. Обнаруживший его милиционер рассматривал его с таким равнодушием, как если бы он, Капочка, представлял собой насекомое или даже пустое место. Яркий, белесый свет бившего с перекрестка прожектора разливался над милицейскими плечами и головой будто бы нимбом, и в рассеянном этом свете поблескивали лычки на погонах, краешек пластикового козырька над провалами глаз, пуговица, казалось, выкованная из золота. Представитель власти стоял так близко, что мог сгрести его за шиворот. Капочка обмер. Свет фонаря и широкий, дымящийся луч прожектора неожиданно совместились и окончательно ослепили его. Он ничего не видел. Малейшее движение, и ему конец. Чужое дыхание

обдало его душным, отвратительным теплом. Едва не теряя сознание, он ощутил над ухом натужное сопение.

– Сержант, ну что там? – донесся откуда-то голос.

– Можно сказать, ничего...

Милиционер увел от него фонарь, высветил тропинку под ногами и повернулся спиной.

– Человечек тут нарисован, на заборе.

– Какой человечек?

– Да так, из мультфильма.

– Ну все, уходим!

Машина взревела, тронулась, медленно и неуклюже наклонилась массивным фургоном, разворачиваясь на перекрестке, и Капочка остался один, во тьме, все еще пребывая в некотором оцепенении, пока темные, невидимые лапы страха не отпустили его. Но и тогда он решил не спешить, переждать. Машина могла вернуться. Поднялся ветер и, ероша листву, прошелся по обезлюдевшим зарослям, которые вдруг почернели, поникли. За перекрестком в большом четырехэтажном доме стали гаснуть огни. Гасли они и в других домах, равнодушно и сонно выглядывающих один из-за другого линиями углов и пятнами окон. Вытянулись и замерли фонари на той стороне улицы, бросавшие свет на пустынные тротуары, что мягко огибали дома, на кусты можжевельника, на низенькую изгородь, тянувшуюся под темными окнами.

Только теперь Капочка почувствовал облегчение. Ему захотелось петь, прыгать, растянуться в траве и лежать, лежать, уставившись в небо, невольно и совершенно бесцельно созерцая знакомые созвездия, падающие кометы. И он осторожно, чтобы в темноте за что-нибудь не зацепиться, хотел было сойти на узенькую полоску земли, проглядывавшую между кустами и забором, но... не смог пошевелиться. «Чё за фигня!» – подумал он. Рванулся еще раз – нет, не получается. Не двигались ни руки, ни ноги. «Что бы это могло быть?» – удивился он, ничего не понимая. Не прошло и минуты, как его охватил ужас. Но ужас иного порядка, совсем не тот, когда он едва не рехнулся под фонарем милиционера, – ужас перед необъяснимым, еще не испытанным. И он ощутил, как вновь покрывается холодом; невозможный, страшный озноб пробирал его, казалось, до самых костей, до самых внутренностей.

Его как будто парализовало. Ему представилась большая серая муха, прилипшая к клейкой бумаге, которая медовыми кручеными лентами свисает с потолков в общественных туалетах и парикмахерских, бессмысленно бьющаяся и жужжащая. Как будто он и есть та самая муха. Да что же это такое? Он выругался, рванулся еще раз. Опять безрезультатно. И он решил, что это – сон, что он пребывает во сне, спит, как это иногда случается, свалившись в кустах. Ведь они с Сериком немало покуролесили всю эту неделю. И вообще...

Постепенно он успокоился. А вскоре и вправду уснул, и вновь проснулся. С похмелья его обычно мутило, иногда выворачивало, особенно когда намешаешь водку с пивом, а уж голова так и раскалывалась. Теперь же ничего такого не ощущалось. Будто он и не пил. А руки и ноги? Он помнил, как сильно, пожалуй, до крови расшиб коленку, когда бился о забор. Но нет, ничего не болело. Ровно ничего. Как будто и не было ничего. И это тоже придавало странности и неправдоподобия тому, что с ним происходило.

Стояла тьма. Тихо, едва заметно веяло ночной свежестью, во мраке проглядывали кусты, которые то поднимались волнами, то опадали черными и пустыми провалами от самого забора и до перекрестка. Дороги, расходящиеся на перекрестке, тонули в тусклой позолоте света, столбы фонарей уходили в разные стороны и терялись где-то в дыму, в перспективе сужающихся улиц. За перекрестком высился всё тот же четырехэтажный дом, за ним – следующий, и всё спало, всё дышало покоем. Вверху неслышно хороводили звезды. Плыл серпик луны в последней стадии убывания, такой бледный, что едва светился. Попахивало свежими стружками, как если бы рядом работала лесопилка. И запах этот становился все более противным.

Ему показалось, что он начинает что-то понимать. Слова милиционера еще звучали у него в ушах: «Человечек тут нарисован...» А ведь это о нем... Внутри у него заныло. Нет-нет, не может быть! И вообще, чё происходит? Он видел этот мультфильм. «Точка, точка, запятая – вот и рожица кривая. Палка, палка, огуречик...» Да и кто его не видел? «Чё за чушь! – подумал он. – Был, был человек и на – рисунок!» Попробовал откреститься от этой мысли, избавиться от нее, но подозрение, что с ним что-то случилось, причем конкретно, причем именно такое, во что невозможно поверить, немыслимое, непоправимое, и скорее всего именно то, о чем и говорил милицейский сержант, казалось, только набирало силу, приводило в ужас. В ужас и оцепенение. «Не-не! – воскликнул он и даже позволил себе ухмылку. – Не-не! Глупость, глупость какая-то. Лажа!» – настолько это подозрение показалось ему нелепым.

И он опять попытался произвести пару простейших движений: выставить перед собою ладони, присесть, повернуть голову. Результат тот же. То есть – совершенная обездвиженность. И тут уж действительно черные, отчаянные мысли каким-то могильным холодом потянулись ему в самую глубину сердца. «Похоже, похоже, что так!...»

Так вот почему его не тронули! Вот почему не схватили! Дрожащий, перепуганный, он не хотел этому верить. Возможно, он угодил в цементный раствор и так и застыл в нем? – пытался он ухватиться, как за соломинку, за другое, как ему казалось, более спасительное, более реалистичное объяснение, вспомнив, что прежде чем попасть в это злосчастное положение, возился в каком-то тягучем месиве. Рядом все-таки стройка. Вот она – за забором. Но тогда бы он задохнулся, насмерть, ему бы сдавило грудь. И потом, сколько он ни всматривался, во мгле, что его окружала, не было ни единого признака строительных работ: ни железной бадьи под раствор, ни лопат, ни мешков, набитых цементом, – все те же кусты, тени, бурьян. Он попробовал оглядеть себя, для чего ему пришлось усиленно вытаращить глаза и вращать ими, как это делают хамелеоны, но ничего не увидел: свет, разливавшийся над перекрестком, был слишком далеким, и забор, на котором все происходило, тонул в полной и непроницаемой тьме. Выходит, правда. Не ошибся сержант. «Какая, какая это правда? – возражало в нем нечто, душа или уж внутренний голос, возражало хотя и не слишком активно, тем не менее все же не оставляя попыток оградить его от тех страшных, фантастических мыслей, которые опять брали верх и от которых внутри у него все обмирало. – Капочка, ты – живой, живой человек, у тебя десять классов образования, у тебя замечательный кругозор, ты так много знаешь, ты так много прочел книг, журналов, и ты – рисунок?... Ну, какой, какой же ты рисунок? Это сон, брат, всего только сон! Наступит утро, и все, все образуется!»

«А может, это какая-нибудь секретная киберловушка, разработка американской или японской разведок? На Западе такая техника!» – думал он на грани почти уже помешательства, и тем не менее продолжая твердить и твердить себе, как какое-нибудь заклинание, о существовании в природе естественного миропорядка вещей, заведенного единожды и навеки, что верить следует исключительно в здравый смысл, что к утру он проспится, как было не раз и не два, и всё, всё встанет на место, как-нибудь, само по себе.

Ведь это абсурд! Когда наука достигла такого могущества, когда человек вышел в открытый космос, появилась генная инженерия, и ученые по одной только замороженной клетке в состоянии восстановить, к примеру, мамонта или бог весть когда умершего питекантропа, и вдруг оказаться в такой немыслимой ситуации, превратиться в рисованного человечка... Нет-нет, это недопустимо! Это какой-то пещерный век! Это противоречит всяким химическим и физическим нормам, которыми обусловлено существование на земле жизни...

Ах, если бы это был кошмар, обычный кошмар, случающийся с перепоя – какое это было бы счастье!

Так думал Капочка, не находя ни уверенности, ни утешения ни в одном из своих, казалось бы, самых железных, самых распространенных доводов, известных всякому современному человеку.

И вновь, казалось бы, ни с того ни с сего, однако еще более потрясшая волна ужаса накрыла его с головой.

И Капочка зарыдал, завыл, как если бы был ребенком, которого бросили одного в темном, страшном лесу. И рыдания его были еще более горьки, еще более безутешны, чем прежде, когда он лежал внизу, под забором, и его било, как будто в припадке. И вдруг – глаза... Они оставались сухими. Как? Что? Почему? Он не мог оторвать руку, как будто пригвожденную к забору, чтоб поднести ее к лицу. Но... он чувствовал – ни единой слезинки! Ни капельки! Как будто он лишился и глаз. Но ведь он все видел! И это стало еще одним открытием, еще одним пугающим и несущим сумятицу явлением. Казалось бы, все вокруг, что предстало взору его, должно было поплыть, исказиться, затуманиться в ответ на рыдания его, на душившую боль его, на страхи, путаясь и ломаясь в мутной пелене влаги. Но нет, ничего подобного. Вопреки всяким представлениям о физиологии, эти жидкостные выделения, вырабатываемые организмом, чтобы нести облегчение, чтобы смягчить самые горькие, самые тяжкие страдания, не наполнили ему глаз, не оросили лица. Очередное это открытие тоже наделало переполоху в душе у него. В какой-то степени даже усилило состояние его потрясения. «Мать его, еще и это! Еще и это!» – возмущалось, кипело в нем все. «Нет-нет, напротив... а вот это... а вот это так и должно быть», – думал он, полный тоски, полный какого-то невыразимого отчаяния, уныния. Откуда им взяться, слезам, ведь отныне он – дерево. Де-ре-во! Всего-то доска! Скрывающиеся под застарелой, выцветшей краской, как будто под кожей, прессованные природой слои древесных волокон! Отсюда и этот устойчивый, опротивевший запах стружки, раздавленной хвои...

Незыблем оставался и забор, который он кинулся было трясти да бросил. Ибо начинал понимать всю тщету, всю безысходность своего положения. Но разве легче какой-нибудь пичужке: канарейке или коноплянке от того, что она догадывается, что оказалась в клетке? Ему хотелось домой, в постель, под одеяло, увидеть

отца. Хотелось к матери, которой он не помнил. Разве что по фотографиям. Отец хранил их в альбоме, иногда они просматривали их вместе, и отец в такие минуты, под влиянием винных паров и растроганный припадками ностальгии хлюпал носом и глядел вокруг покрасневшим и слезящимся взглядом. А он, Капочка, не мог представить ее живой. Ему мнилось, что женщина эта, мать его, которая чрезвычайно красиво, уютно и с какой-то очень уж картинной самоуверенностью расположилась на десятках фотографий, всего лишь элемент альбомного дизайна почти такой же, как тисненные узоры по углам картонных страниц.

Размышления эти, на какой-то миг оторвавшие его от действительности, вдруг представились ему насмешкой. На него такое свалилось, а он думает о фотках. Все вокруг как будто пророчило ему гибель. Что живет он последние минуты. Приговор вынесен. И в могилу его отправит та самая обездвиженность, которая вдруг непонятно почему сковала его. Обездвиженность мухи, угодившей в клей. «И ведь ничего не попишешь», – думал он с грустью, мучаясь не только своим положением, но и каким-то странным ощущением полета, ужасного, необъяснимого, как будто его куда-то уносит, уносит вместе с забором, кустами, перекрестком, залитым электрическими огнями – сквозь страшную тьму, которая угрожающе его обступила, сквозь звезды, прыскающие вокруг серебряными рыбами, вращает и несет, как жухлый осенний лист в какую-то мрачную, бездонную пропасть, в дыру. Куда? Зачем?.. Что, что он такого сделал?!

И он вновь начал было трясти забор, с которого хотел слететь, подобно комку грязи, – сорваться! Грохнуть оземь! Увы, лишь только ощутил, как понапрасну теряет силы. Как это глупо! Уж лучше бы его забрали...

Уныло глядел он во тьму, на бледный умирающий месяц над головой, на перекресток в золотистых огнях, в застывшие перед ним волны кустарника, в черные листья, что едва-едва перешептывались, поблескивая смутным заревом бликов. А перед внутренним взором его вновь и вновь, как какое-нибудь наваждение, выплывали потрепанные и помятые листы их семейного альбома, в застарелых и расплывшихся пятнах не то пролитого чая, не то вина, фотографии, вставленные уголками в округлые вырезы или просто прихваченные на клей; старые, черно-белые, одни потемневшие, другие потрескавшиеся, третьи поблекшие.

Вот они вместе: отец, мать. Оба молодые, красивые. У нее волнистые светлые волосы, вьющиеся по плечам, линия носа – гордая и правильная, как у Афродиты, глаза – необычные, непонятные, в которые он, Капочка, еще школьником, бывало, глядел часами, забыв и об играх, и об уроках, а наглядеться не мог. Голова ее влюбленно клонится к отцу, успешному тогда выпускнику физмата, но уже и преподавателю той же кафедры, Николай Николаичу Капитонову. А вот и он, Капочка, маленький, в матроске. Тогда его звали Колей. Сидит на стульчике с голыми коленками, а на коленках – гармошка с раскрытыми мехами. Коля играет, надо лбом его, по-детски крупным и выпуклым, топорщится чубчик, а отец подсказывает ему, когда и на какую клавишу нажать. Как давно это было!

Время от времени нежная ночная прохлада прокатывалась по забору, и ему чудилось, будто бы с тихими и вкрадчивыми ее прикосновениями до слуха его доносятся звуки той неизъяснимо далекой гармошки, незатейливая мелодия, грустная и однообразная, и слышится голос отца, который тихо и с кроткой улыбкой подпевает, казалось, где-то совсем рядом: «Жили у бабуся два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся...»

Отец давно уже не тот. Он хроник. Так он себя называет, когда хочет поплакаться, что он безнадежен, что он поражен алкоголизмом, а больная и увеличенная печень – это его фатум, судьба. Живут они в нищете. Кроме пустых бутылок, которые частенько мешаются под ногами, в доме ничего нет. Ни он, ни Капочка не работают. У отца дрожат руки, с трудом сгибаются колени, а Капочка сам год за годом не соберется с духом, чтобы куда-нибудь оформиться. Трудно, когда нет профессии. Получить ее в ПТУ он погнушался, в институт не поступил ни с первого раза, ни со второго, являясь на экзамены в подпитии или с большой головой. Но год, а может, и больше в своей несурзной жизни он все же проработал в каком-то строительном-монтажном управлении, куда его взяли бетонщиком, на должность, не требующую квалификации, и ему вспомнился эпизод, связанный с тем временем, произошедший в кабинете по технике безопасности. Кабинет был большой, светлый, а черной доской, исчерченной мелом, и рядами стульев, которыми он был обставлен, напоминал классное помещение. Когда Капочка вошел, многие стулья были уже заняты такими же, как он, молодыми людьми. За столом, чуть в сторонке, горбился старичок в пыльном, стертом на локтях пиджаке, в засаленном галстуке. Как потом оказалось, он и был инженером по технике безопасности. Вокруг плешивого его черепа, падая на обвислые уши, вилось неопрятное облачко льяных и серебряных волос, лицо было в морщинах и с таким выражением, как будто его вынудили принять какую-нибудь отвратительную пилюлю.

Он прерывая занятий, он дал ему знак садиться, а сам продолжил безнадежным, поскрипывающим голосом:

– Например, Иванов... Скажем, тот еще разгильдяй. Взял и оставил на лесах молоток. Не убрал, как полагается по ТБ. А надо сказать, техника безопасности, товарищи, построена на смерти, на крови. Вот это запомните. Запомните на всю жизнь!.. И вдруг под этими лесами понадобилось пройти некоему неизвестному. А молоток возьми и упади, и хрясь этому неизвестному по кумполу, и нет его, неизвестного. А?.. А кто виноват?..

И инженер-старичок, часто-часто заморгав белесыми сморщенными веками, устремил вопрошающий взгляд в аудиторию, вызвав тем самым дружный жеребьячий гогот дюжины здоровых и молодых глоток.

– А?.. А кто виноват? – сквозь гогот и шум с совершенно серьезным видом вопрошал старичок. – Иванов... Тише, тише, товарищи! – замахал он руками. – Инструктаж проходил?.. А как же! Вот, в журнале и подпись его... Неизвестного в морг, а Иванова?..

И старичок сморщился, и вновь вытянул шею, и вновь как-то растерянно заморгал:

– А Иванова, товарищи?.. – и выдержал паузу. После чего привстал и коротко заключил: – А Иванова – по этапу, по этапу...

И парни опять гоготали. Смеялся и он, Капочка. И чему они тогда все смеялись? Человека убило, а они смеялись!

Но теперь он и сам тихо и с удовольствием зашелся в хохоте. Но смех его был не весел. Смех пополам с плачем, вернее – с тенью его: с щемлением в груди, с, казалось, подпрыгнувшим лихорадочно плечом, с комом, перекрывшим дыхание, с глазами, которые каким-то непостижимым образом были выключены из тех физиологических процессов, что происходили с ним. И слезы, – это простейшее

соединение влаги и соли, которым никто и никогда не придавал особенного значения и которым было уже не выступить, не пролиться у него из глаз, – представились ему теперь едва ли не чудом, поистине – даром свыше.

«Дерево, дерево! – с горечью подумал он о себе. – Кусок забора, очерченный мелом. Не более одушевленный, чем последнее матерное выражение, какими то там, то здесь исчеркан этот забор... Несчастный... ничего человеческого...» И коротенькие, судорожные смешки его вместо того, чтобы обратиться в плач переросли в пустые и непонятного рода гримасы.

Однако если бы в этот момент из кустов выбрался какой-нибудь его приятель в обнимку с бутылкой, – а у Капочки, надо заметить, приятелей подобного рода было немало, – и остолбенел, увидев перед собой мультяшного человечка, выставившегося на него с забора, то нетрезвый субъект этот, качнувшийся от усталости и уже открывший было рот, чтобы затащить «Мороз-мороз» или же просто выматериться, наверняка стал бы свидетелем, как аккуратно под штаниной этого рисованного человечка, подламывая слой краски, а заодно и пятку клоунского ботинка, крепко и с удовольствием вычерченного мелом, закипели-таки, выкатились-таки из невидимых щелей и тут же застыли желтыми, отсвечивающими золотом каплями если не совсем слезы, то потеки живицы, древесной смолы, от которых тонко, почти неуловимо дохнуло горечью скипидара.

Никогда, никогда не сойти ему на землю, такую родную, такую теплую, казалось, дымившуюся совсем-совсем рядом, в кустах, иссиня-черными, смутными прогалинами травы, не прогуляться по улицам с шумящими над головой деревьями, не посидеть с друзьями-товарищами в полуразваленной беседке во дворе, не разомкнуть рук, не расправить ног, не отряхнуть штанов, которые казались ему грязными и помятыми, как если бы он спал в луже, и какими-то приставшими одновременно и к ногам, и к грубой, занозистой поверхности доски.

Притихший, печальный, так думал Капочка нелепым, маленьким изображением, выставившимся в ночь.

Утро занималось медленно. Во мгле пядь за пядью проступали вертикальные щели между досок, на которые мягко и косо ложился первый слабый, рассеянный свет, более походивший на туман. Под ссохшейся краской, отливающей бликами, обозначилась шероховатая поверхность плохо обработанной древесины. Обозначились шляпки гвоздей – одни нагие, в голубоватой пылице, повылезшие сквозь краску, другие – едва угадывающиеся. Наконец-то! Но как ни переполняло его волнением, у него не хватило решимости тут же начать оглядывать себя. Какое-то время он колебался, тянул. Те догадки и домыслы, больше походившие на злые фантазии, мучившие его на протяжении всей ночи, могли оказаться действительностью, горькой, невозможной, не уместяющейся в сознании. Но то, что озаренное первым утренним сиянием предстало глазам его, едва не лишило его рассудка. По одну и по другую сторону от себя он увидел выведенные мелом совершенно одинаковые грубые, короткие линии, расщепленные по концам на три или четыре прутика, и понял (понял, едва не теряя сознание), что линии – два этих кривых и безобразных сучка, заменили ему руки. Сердце его, казалось, перестало биться, если оно вообще существовало. С ужасом, с ощущением полной своей обреченности, перевел он глаза вниз. И уже почти не удивился ногам, выпирающим точно такими же сучьями из двух коротеньких рисованных труб, которые, по-видимому, обозначали штаны. Мало поразили его и округлые, курносые башмаки, точь-в-точь

такие, какие он видел прежде на мультяшных человечках, как будто паривших на стенах и заборах в совсем недалеком прошлом. А пуговицы на длинном и несколько искривленном, как огурец, туловище, которые имитировали присутствие на нем пиджака или, возможно, пальто, немного даже порадовали: все же не голышом. На лице застыла улыбка, – лица, разумеется, он не видел, но чувствовал, как широко и радостно разъехавшийся рот подпирает ему ушные раковинки; на голове высилась шляпа, она угадывалась по легкой тени, падающей на глаза. Не хватало лишь зонтика для более совершенного сходства с человечком из мультика, но это упущение показалось ему не таким уж и важным. В конце концов, зонт – не главное, когда ты рисунок.

А в общем, все было вполне ожидаемо, можно сказать, в порядке. Только слегка покруживало голову. Наверняка, от запахов древесины и краски, назойливых и действующих на нервы. Теперь-то уж без колебаний можно было сказать, что источником их являлся он сам; запахи эти, беспрестанно обволакивающие его невидимым облачком, поднимались из спрессованной внутри его самого древесной структуры: волокон, сучьев, годовых колец и, понятное дело, от высохшей, как камень, краски, зияющей местами трещинами.

Между тем в кустах, в листьях которых еще черным пухом висели сумерки, метнулась собака. Он стал следить за ней. Что ему оставалось! Видимо, где-нибудь рядом у нее была лежка. Собака ленивой и какой-то разболтанной трусцой подбежала к забору, к тому самому месту, где он был нарисован, задрала заднюю лапу и долгим, мучительным взглядом выставилась в небо, в котором растворялись последние тени, наморщила лоб, покрытый лезущей, свалывшейся шерстью, и с удовольствием стала мочиться.

Когда она скрылась из виду, в траве, куда с забора потекла обильная, как паводок, струйка, над которой курился солоноватый и отвратительный пар, обнаружилась горстка монет. «Вот это да!» – подумал Капочка. Монетки все никелевые, белые, за исключением одного большого, мрачного, слегка позеленевшего пятака, хоронившегося чуть в сторонке. Это была та самая мелочь, от которой ночью избавился Серик, – он видел, как Серик выворачивал карманы. В другое время Капочка, возможно, и порадовался бы: деньги хоть и не выдающиеся, но тем не менее, начать утро с кружки бодрящего «жигулевского» – редкая удача. Однако теперь он только вздохнул. Его уже не занимала проблема похмелья. Тошнить не тошнило, голова не болела. Его вообще ничего уже не занимало. Случись конец света, и то было бы все равно. Только одно продолжало его беспокоить. Он сам. Изображение, в которое он вдруг превратился. «Это просто урод! – не находил он себе места. – Как в таком виде существовать? Никому ведь и не покажешься!» Он догадывался, что этот в высшей степени никуда не годный рисунок – дело рук какого-нибудь двоечника, какого-нибудь дылды – второгодника, сбежавшего с уроков и забравшегося сюда, в кусты, чтоб засмолить бычок, подобранный на остановке... «Не умеешь рисовать – не берись, – подумал он с обидой, жгущей ему сердце. – Тоже мне Айвазовский!» И он тихо, нехорошо выругался.

Фонари на перекрестке погасли. В воздухе, пронизанном первыми, голубовато-прозрачными лучами рассвета, проклюнулись очертания светофора, повисшего под паутиною проводов. Над городом в туманной сини, далеко-далеко, там, где крыши строений сливались с деревьями, образуя смутную курчавую дымку, проступили, как-то неожиданно выросли и, казалось, поплыли, едва-едва качнувшись

и стряхивая с себя остатки ночи, величественные, огромные гряды гор, которые поднимались одна над другой. Небо над ними слегка порозовело. Снеговые шапки на каменных вершинах тронуло румянцем, и вот уже вспыхнули, уже разлились, озаряя суровые скальные отроги, брызги и потоки солнца, пока еще робкие, пока еще неуверенные, но уже были различимы в их розовом блеске провалы ущелий, протянувшиеся от подножия и до самых небес, кривые и могучие ребра скал, по которым вздымались и уходили вверх уступ за уступом дремучие леса, что пропадали во мраке, куда солнце пока еще не проникло и где в невидимых глазах ущельях стояли грохот и шум бурливых, как кипяток, рек, пенящихся водопадов, низвергающихся во мгле над бездонными пропастями. Громоздились утесы, покрытые мхами, поднимались одинокие ели, парили орлы, по склонам между камней и льдин охотились барсы, поджидая зазевавшегося кеклика или архара.

Капочке не приходилось бывать в горах. И вот теперь, когда перед ним торжественно и во всем великолепии открывалась привычная для каждого алмаатинца панорама, ему стало грустно. Жизнь прошла, а он ничего не видел: ни троп, которыми между горных теснин уходили счастливые, нагруженные рюкзаками отдыхающие и туристы (были и у него такие знакомые, прекрасные люди, звали его, тянули – нет, не пошел), ни света и горьковато-душистого воздуха сосновых лесов, ни ночевков в палатках, ни посиделок у костра под брэнчанье гитар и в обнимку с девчонками, ни высокогорных озер, блестящих подобно жемчужинам в зеленых ущельях, ни знаменитого катка Медео, возведенного в одноименном урочище, куда каждую зиму со всего мира съезжаются известные фигуристы и конькобежцы, и где он, Капочка, как и всякий желающий, мог бы надеть коньки и покрутиться на льду; не бывал ни в музеях, ни в театрах; в кино-то ходил пару раз, да и то в безоблачном детстве, когда любимыми лакомствами были еще мороженое и лимонад, а любимым занятием – чтение, а уж от мультиков его было и вовсе не оторвать. Ведь когда-то у них с отцом имелся и телевизор.

Но вот, сотрясая небо и землю, по Жарокова в направлении гор потащился первый трамвай, сияя оранжевыми боками и чередами стекол, в которых, как в зеркале, мелькнули и небесная синь, и зелень деревьев. По Джандосова побежали троллейбусы, автобусы, замелькали на перекрестке легковушки, зафыркали, выпуская из-под колес клубы дыма, тяжелые грузовики. Ожил светофор, замигал в разные стороны и на разные цвета многоглазым чудовищем. Тротуары постепенно заполнились народом: взрослыми, детьми, согнувшимися под тяжестью учебных ранцев. Подминая вытянутые в ниточку рельсы, по Жарокова опять прогрохотала вагонная пара, на этот раз – синяя, через считанные минуты – зеленая, после – оранжевая; они неслись и покачивались, как будто вдохновенно танцую, яркие, нарядные, словно игрушечные. Он увидел соседа, хорошего знакомого, перебежавшего между машин с раздувшимся, как будто пузырь, портфелем. Галстук его поднимало ветром и уносило назад, за плечи. И он подумал, что и он, Капочка, мог бы вот так же спешить на службу куда-нибудь в НИИ или в КБ какого-нибудь завода или фабрики. Ведь в школе он был одним из лучших. Учителя как один прочили ему завидное будущее...

Надо заметить, что невзирая на спитые мозги, в нем, в Капочке, что-то еще оставалось от того умного, начитанного мальчика, каким он когда-то был, когда окружающие звали его Колей, Коленькой Капитоновым, пока в подражание уличным бездельникам и забулдыгам не потянулся он к бутылке, не задымил

сигаретой, начиная вытягиваться ввысь, взростеть, обзаводиться первыми вьющимися волосками под носом. В школе своим умением все схватывать на лету он поражал учителей, особенно по физике и математике, что не могло не потрясти, естественно, и отца, который хвастал сынишкой перед случайными собутыльниками в какой-нибудь шумной и провонявшей пивной и, заливаясь счастливыми пьяными слезами над кружкой пива, в которую была подмешена водка, бил, бил себя сухоньким кулачком в грудь: «В меня, в меня, чертяка! Одно слово – Капитанов!» Одноклассники становились в очередь, чтобы списывать у него домашние задания, самый сильный из них, Серик, оказывал ему покровительство и сидел с ним за одной партой.

Однажды за бутылкой вина Николай Николаич, – а было это давно, более года назад, а может, и больше, как знать, пьющие люди, как и счастливые, за временем не наблюдают, – так вот, отец как-то поделился с ним, как с человеком, кое-что смыслящим в науках, – сам же он и по сей день считал себя ученым, пусть он и хроник, пусть его и лишили всего на свете: и кафедры, и степени, и заслуг, пусть он и опустился, но он – ученый, он кандидат. Пошатываясь и выкрикивая: «Щас! Щас!» – в пылу споров, пьяный, он частенько залазил в шкаф, звенел там пустыми бутылками, худыми и пожелтевшими руками в синих прожилках, по-старчески уже трясущимися, извлекал из завалов нестираного белья и старых, потрепанных книг диплом в голубенькой корочке, и, весь в слезах, размахивал им и разгневанно шлепал им об стол в подтверждение истинности своих слов. Так вот, отец его, Николай Николаич, однажды вечером за стаканом вина поделился с ним одной прелюбопытной теорией, которая в те дни весьма его занимала.

– Сынок, можешь ли ты мне ответить, отчего это вдруг Иисус Христос вознесся в небо, а после, спустя несколько дней, явился на землю? И вообще, почему такое путешествие стало возможным? Почему, наконец, силы гравитации не смогли ему воспрепятствовать? – И Николай Николаич хитро и с любопытством выставился на сына захмелевшими и болезненно опухшими глазами, в которых мелькнули вдруг веселые и коварные огоньки.

На краю большого стола, за которым они разместились друг против друга, покоилась груда журналов «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Юный натуралист», «Вокруг света», которые когда-то, в лучшие времена, приходили к ним почтой, – Капочка еще помнил, как они с отцом радовались каждому экземпляру, как эти журналы живо и празднично поблескивали гляncем, как они одуряюще пахли типографией, а теперь это была лишь куча приготовленного к выносу хлама, рванного и мятого, изъеденного временем, жучком, сыростью. Некоторые журналы лежали на полу, под ногами, оказавшись одни под диваном, другие под шкафом, раскидав в беспорядке свои безрадостные гибнущие страницы.

Тонкие, мокрые губы Николай Николаича поблескивали вином. Он отставил стакан, с важностью на лице закурил, спичку бросил в консервную банку, набитую окурками, которая заменяла им пепельницу, отклонился от дыма, поднявшегося и окутавшего его клубами; капля вина вытянулась нитью и покатилась в светло-сиреновой щетине его увядающего, запавшего подбородка, цепляясь за отдельные встопорщенные волоски. Взгляд его воодушевленно блеснул.

Наука и теперь оставалась его страстью. Второй его страстью были шахматы, ими он зарабатывал на жизнь. Пока сын его с Сериком, своим неразлучным другом, больные с бодуна, рано поутру трясущимися руками собирали по городу

бутылки, лазая в кустах и заглядывая под каждую скамейку, обследуя подряд все арыки, урны, все беседки, попадавшие на пути, и набивали ими авоськи, а после несли их в «Прием стеклопосуды», чтобы выручить за каждую по двенадцать или семнадцать копеек, и таким образом зарабатывали себе на похмелье, Николай Николаич, столь же больной, однако от возраста и немощи с еще более трясушимися конечностями, которые просто ходуном ходили, аккуратно смачивал под краном остатки волос, зачесывал их расческой за большие и сморщенные уши, после чего в хозяйственную сумку, такую же древнюю и ободранную, как и все прочее, что было у них в доме, укладывал старую шахматную доску с недостающими фигурками, которые были заменены то использованной катушкой из-под ниток, то спичечным коробком, и шел, едва передвигая большими негибавшимися ногами, в ближайшую пивную, превозмогая, как мог, тошноту, боль в голове, мушки в глазах, бессилие, то есть известные всякому пожившему человеку симптомы алкогольного отравления.

И надо отдать ему должное, он никогда не проигрывал. Даже в самый неудачный день на столе у Николай Николаича или за дверцей в шкафу, или в углу за диваном с повылезшими пружинами, поблескивала вытянутым стеклом длинная початая бутылка какого-нибудь мрачного ядовито-бурого зелья под названием «Агдам» или же «Плодово-ягодное». Вино он употреблял самое дешевое, лишь бы ударяло в голову. Тем более, он настолько был уже пропитан алкоголем, что ему хватало и полстакана, чтобы в голове у него зашумело, поплыло, стало крепиться.

Николай Николаич выпустил струйку дыма, прищурился и с интересом воззрился на сына. Попутно ударил по столу ладонью, перепугав юркнувшего в журналы надоедливое таракана, который не ко времени развесил перед хозяевами свои длинные, рыжие усы.

– Ну, не знаю, не знаю, – промямлил Капочка. – Наверное, потому, что он бог, а ведь богу всё это доступно.

Николай Николаич был сухонький, лет пятидесяти, бледный, сутулый, почти что лысый, с ранними старческими пятнами на желтом увядающем лице. Однако когда разговор заходил о науке или о шахматах, особенно за стаканом вина, он неожиданно молодец, глаза его начинали блестеть, вспыхивать умом, он медленно закидывал руку за голову и с видимым удовольствием проводил костлявой ладонью по остаткам волос. За отсутствием телевизора и даже настенного радио, висевшего тогда в каждом доме, единственным семейным развлечением оставались у них такие вот пьяные и не очень беседы о чем-нибудь научном или необыкновенном, в сигаретном дыму, с корочкой засохшего хлеба, с луковицей, огурцом, иногда даже с колбаской, аккуратно порезанной на дольки и разложенной на тарелке.

– Я тебя не спрашиваю, бог он или не бог, – настаивал отец. – Мне любопытно, какое научное объяснение ты можешь представить по этому поводу. А между тем оно существует. Ты слышал что-нибудь о теории вибрации во вселенной?.. Мало, мало читал, сынок, – и Николай Николаич с ухмылкой превосходства на тощем и желтом лице с бурными пятнами, которые от выпитого начинали гореть у него во впадинах под скулами, тыкал негнущимся пальцем в кучу журналов, придвинув их к себе. – А суть теории вот в чем, так сказать, уважаемый оппонент...

В тот вечер Капочка узнал немало интересного, о чем прежде не имел и представления. А именно то, что физические тела, под которыми понимаются, конечно же, люди, оказывается, обладают способностью передвигаться по вселенной не только при помощи звездолетов и космических межпланетных станций, но и благодаря многократно, в сотни, а то и в тысячи раз увеличенной вибрации своих собственных клеток. И чем выше частота вибрации, тем легче обосноваться и жить во вселенной любому физическому телу. Силой мысли заставляя свои клетки вибрировать в необходимом режиме, оно способно мгновенно и совершенно безболезненно передвигаться на любые расстояния, которые сегодня кажутся немыслимыми. И уже завтра, когда человек, как разумное существо, научится управлять своим организмом, своими собственными клетками, космос станет для него родным, все равно, что океан для рыбы.

– А что такое вибрация, сынок? – спросил Николай Николаич с радостной и таинственной улыбкой, застывшей у него на губах. – Дрожь. Обычная дрожь, которая может начаться, к примеру, с волнения или, скажем, на морозе, когда ты озяб.

– А еще с перепоею...

– Ну да! Конечно, и с перепоею, и с перепоею, – соглашался Николай Николаич. – И эта дрожь, эта вибрация, согласно последним медицинским исследованиям, понимаешь, усиливает защитные силы организма, повышает тонус его, и в то же время человек теряет в весе, протоплазма, то есть связующие звенья между клетками, необыкновенно растягиваются, и вот человек уже подобен облаку. А если увеличить вибрацию клеток, к примеру, в тысячу, нет, в две, в три тысячи раз, человек может взлететь, подобно тому как взлетает муха, вибрирующая крыльями, только намного легче, мощнее. А если вибрацию, скажем, продолжить до бесконечности, то тело его станет невесомым и вообще потеряет форму и станет невидимым, как и сама вселенная, как воздух, как бесконечность, и уже не будет подчинено ни времени, ни пространству. То есть человек превратится в духа, в бога. Он может пройти сквозь стену, он может жить в камне, металле, да где угодно! Нет, ты прикидываешь, сынок?

«Так вот она – дорога в небытие, в смерть, в рисунок на заборе! – подумал Капочка, очнувшись от воспоминаний и охваченный невероятной грустью. – Альфа и омега параллельного состояния. Любопытная теория». Тем не менее еще теплившаяся где-то внутри его частичка оптимизма на какое-то время даже помогла ему воспрянуть при мысли, что, возможно, не все потеряно. Что рисованный человечек – это еще не конец. Наверняка в каком-нибудь из журналов, если внимательно их пробежать, найдутся и упражнения, которые могли бы ему помочь научиться управлять собственными своими клетками. Ведь управляем же мы руками, ногами, телом. И если у него непонятно каким образом получилось преобразиться из человека в жалкое, нелепое изображение, наверняка возможно и обратное движение клеток и атомов. Однако теория эта показалось ему слишком сомнительной, чтобы быть правдой, и в чрезвычайно радушной улыбке его на кривом и несколько вытянутом лице, изображенном с легким ученическим наклоном, появилась мина разочарования, мина тоски и меланхолии, которая, казалось, отразилась и на всем его маленьком, узком, обтекаемом и ужасно напоминающем огурец тельце.

Капочка обожал те вечера. Иногда, когда на столе среди закуски и журналов оставались еще бутылка-другая, в компании с ними засиживался и Серик.

Огромный, молчаливый, с молодым, но уже заметно выкаченным животом. Крупное, коричневое лицо его с выпирающими щеками при свете лампочки казалось отлитым из меди. Серик не понимал их бесед. Он только вздыхал, поглядывал по сторонам, блестел капельками пота и в нетерпении ждал, когда Капочка или Николай Николаич возьмутся, наконец, за бутылку и разольют ее по стаканам. А когда ждать было уже нечего, ловил в смуглую, мясистую ладонь муху, слушал, как она тоскливо жужжит у него в кулаке, а после отводил руку и молча, равнодушно бил ее об пол, и от мухи оставалась крошечная серо-красная точка. Потом он тяжело подымался, буркнув что-то вроде: «До завтра», и уходил.

При этом Николай Николаичу, который вымученно ласковым взглядом провожал его в спину, становилось легче. Он побаивался Серика. Об этом парне, об этом друге его сына, его Коли, ходили неприличные слухи. То он ограбил какого-то пенсионера, подсторожив его у сберкассы, то побил человека, которому задолжал, чтобы не возвращать денег. В кармане у него, мол, всегда кастет или даже заточка.

– Ты бы это, сынок, поосторожнее с ним...

Нарушив ход его мыслей, за спиной у Капочки неожиданно взвыл, казалось, под самым небом подъемный кран. А внизу, видимо, из котлована, там же, по обратную сторону забора, грубый, низкий, мужской голос отрывисто и раздраженно подавал команды: «Майна! Вира! Левее, левее, выше, выше!...» – и с удовольствием крыл матом. Кран, по всей видимости переноса в воздухе опасный и тяжелый груз, предупредительно отвечал стрекотом электрического звонка, походившим на звон будильника. Стройка за забором начинала оживать, наполнилась людьми, невнятными голосами, криками, заглушаемыми механическим шумом.

И вдруг забор неожиданно тряхнуло, потом наклонило, потом тряхнуло и наклонило повторно. Это пробежался по нему порыв мощного грозового ветра. Вокруг все потемнело. Налилось тревогой. Листья кустарника, в которые были обращены глаза Капочки, всполошились, затрещали, приподнимаясь вместе с разыгравшимися в глубине ветками, панически зашумели. Капочка автоматически взглянул вверх и увидел, как над городом собираются тучи, потом обратил внимание на руки, и с болью на сердце вдруг обнаружил, как ветром из их корявых и неумелых линий выбивало частички мела. Посмотрел вниз, на ноги, и там происходило то же самое. На глазах у него отстало и улетело, закружив в воздухе, несколько белых, как снег, чешуек, потом еще. И линии и рук, и ног угрожающе истончали, стали какими-то невесомыми.

«Вот тебе на, – подумал он с ужасом, – а что будет дальше?» И ему представилось, как по нему, по всему его маленькому и неказистому телу, смачивая и смывая каждую его рисованную черточку, льет дождь.

– Мать твою, – закипел он в негодовании. – Художник! Ван Гог! Не мог пририсовать зонтик! Руки бы ему оторвать!

И тут он увидел на глянцевом темно-синем боку трамвая, что в тот момент летел по Жарокова, трясаясь и наводя страшный грохот, в точности такого же, как он, маленького рисованного человечка... Человечек был в узком и довольно высоком котелке, совершенно как у него. Ему показалось, что он увидел собственное отражение. Только у того имелся шикарный зонт, раскрытый к дождю, который он с горделивой улыбкой выставил несколько на отлете. На груди его

топорщился галстук в косую полоску. Улыбка, как полагается, до ушей. Он вежливо приподнял шляпу-котелок, как если бы они были знакомы, и вскоре исчез вместе с грохочущим и подпрыгивающим вагоном, как будто бы растворившись в городской сутолоке среди огромных трех- и четырехэтажных домов, людей и прочего гудящего и пылящего на перекрестке транспорта. Не успел Капочка опомниться, поразмыслить, понять, что происходит, как именно такой же человек, выведенный мелом жирно и торопливо, но с более глубоким ученическим наклоном, пронесся и на боку автобуса, что следовал по Джандосова, подпрыгнув вместе с маршрутной табличкой, с физиономиями пассажиров, которые глазели из окон, и неловко ему улыбнулся, выказывая единственный зуб, выглядывающий колышком между разъехавшимися лунообразно губами, когда автобус медленно и с трудом переваливал через трамвайные пути. В руках у человечка, помимо зонтика, оказалась и стопочка книг. На носу очки. Что наталкивало на мысль: возможно, парень из библиотеки. Но третий, которого он увидел чуть позже, когда ветер, метнувшийся поземкой, подхватил облачко пыли и, поиграв, бросил его обратно под ноги прохожих и под колеса бесконечного потока машин, просто поразил его. Это был артист, скрипач. Скрипач этот затаился на задней стенке троллейбуса, под лесенкой, по которой взбираются на крышу. Но лишь только пыль рассеялась, и они встретились глазами, скрипач неожиданно ожил, засуетился, кинул скрипку под подбородок и прямо на ходу сыграл ему что-то классическое, довольно знакомое, бурно, радостно и в каком-то невероятном исступлении размахивая смычком. Нарисованные мелом глаза его горели, он не отводил их от Капочки, и Капочке даже почудилось, что человек этот, эта необыкновенная личность, воскликнул: «Друг, товарищ, это для тебя! Для тебя!» При этом длинные, косые фалды его чудесного сценического фрака, будто бы птица, взметнулись вверх, в сторону и вылетели на какое-то мгновение за пределы троллейбуса.

Капочка обомлел: «Ни фиги!..» И вдруг почувствовал острое и бурное желание жить, обнаружив, что он не один такой. Что такие, как он, не бессмысленные рисунки, пустые и лишь засоряющие городское пространство, как полагал он прежде, а вполне разумны, воспитанны, интеллигентны. Мало того, он ощутил, что находится у истоков чего-то необъяснимого, нового, прекрасного, доселе еще неизвестного человеческой цивилизации. Он попытался снять шляпу и помахать в ответ, и у него получилось, с первого же раза. И это было настолько неожиданно, что привело его в изумление. Его даже не смутило, что движения его были ограничены, двухмерны, как на экране кино.

– Я хочу жить, жить! – прозудело, точно комариным писком над сучьями кустарника, которые гнулись, шумели и внезапно замирали, как будто прислушиваясь к тому, что кричал Капочка. А Капочка, пребывая в состоянии восторга, и сам немало был удивлен тем страстным и неумным порывом оптимизма, который вдруг обуял его.

А тут еще, будто бы в подтверждение молвы о капризах алма-атинской погоды, способной меняться по несколько раз на дню, и прибавляя настроения, в разрывах туч вспыхнуло солнце. Тучи черным и мохнатым стадом понесло к горам, снова ударил сильный, холодный ветер, и капли несостоявшегося дождя прощально и слабо прошелестели в кустах, пробарабанили по забору, и небо над городом снова засияло чистой и глубокой лазурью, какая бывает только по утрам.

* * *

В камере медвытрезвителя, куда Серика бесцеремонно затолкали с партией невменяемой и в большинстве своем бесчувственной клиентуры, стоял смутный, несмолкаемый гул голосов, как где-нибудь на вокзале. Над дверью, представлявшей собой всего только решетку из грубой рифленой металлической арматуры, в углублении ниши, перекрытой сеткой, ослепительно ярко горела единственная, но огромная лампочка. Окна со стороны улицы наглухо были заперты ставнями обитыми крашеной жестью, которая сумрачно, в ржавчине и царапинах, зеленела за такими же толстыми и грубыми решетками, как на двери.

Койка, на которой поместили Серика, была низкая, жесткая, сваренная из листового железа и намертво привинчена к полу. Тощий матрац, клеенка, простынь. Раздетый до трусов, он ежился под байковым, так называемым «солдатским» одеялом и долго не мог уснуть. Кружилась голова, кружились стены, серые, недобрые, залитые штукатуркой «под шубу» – бетонной колючкой, на которой уже не нацарапаешь: «Здесь был Вася». Казалось, под яростным, раздражающим напором света той самой единственной в камере лампочки, размерами напоминающей кинескоп, стены вокруг меркли, теряли сущность и тихо, бесконечно рассеивались, превращаясь в дым, в прах. Опрокидывалась койка под ним и уносилась изголовьем вниз, вниз, в зияющую пустоту. Следом, будто бы в пространстве, планировала и подушка под головой, твердая, неудобная, как кусок автомобильной шины, и сама голова – огромная, гудящая, в которой носились крики, звоны, и чудилось, что она вот-вот хрустнет, развалится, ударившись об пол. В горле пересохло. Он попросил пить, но услышал лишь собственное хрипенье. Язык одеревенел. Глотательный аппарат превратился в смердящую, выжженную пустыню. И это мучительное состояние, называемое среди выпивох коротко и без прикрас «сушняк», когда он забывался на какое-то время, провоцировало один и тот же короткий и какой-то немилосердный сон – будто бы очнувшийся неведомо где, в жидкой, мрачной тени каких-то безлистных деревьев, добрался он, наконец, до пива. И пиво то свежее, холодное. Над ухом ластится ветерок, что-то нашептывает. Ощущение волшебное. Над кружкой, к которой он жадно прильнул, колышется гора пены, отливающая легкой радужной позолотой: она беззвучно потрескивает, шипит, дрожит, подступает к самым глазам его; он запрокидывает большую, тяжелую голову и производит глотки – один, другой, третий и думает: «Повезло-то как!» – но горло и ноздри его, нервно и широко раскрытые, трепещущие в предвкушении радости, заволакивает лишь пена, дрожащая, пустая и с каким-то неслышным треском лопающаяся и тающая по всему его лицу золотистыми звездами. И он снова открывал пьяные, заплывшие и недоуменно блуждающие глаза.

Сзади под окнами кто-то чудовищно храпел. В воздухе стояли застарелые запахи табака, пота, водочного перегара, откуда-то из угла понесло чем-то отвратительно кислым, – похоже, кто-то облевался. Стены над головой продолжали кружение всё в тех же космах ползучего дыма; не отставали и пол, и потолок, и множество низких, узеньких коек, куда ни глянь, сквозивших как будто в тумане грязным, разбросанным бельем, полные людей и сдвинутые до такой степени тесно, что казались наехавшими одна на другую.

Чтобы хоть что-то понять, надо было проявить усилие и протереть глаза. Что он и сделал. Потом приподнял голову. Под голову подложил сложенную вдвое

подушку. Потом еще кулак. В камере было человек двадцать. Некоторые лежали без движения, раскидав поверх скомканных одеял и простыней желто или голубовато светившиеся, как у покойников, руки и ноги. Другие, все еще во хмелю, покачиваясь тенями, бродили между кроватей, ударяясь о них и вызывая в ответ грубую несдержанную брань или бессвязное бормотанье. У трех-четырех лица разбиты, в синяках, кровоподтеках. Эти в основном бредили, едва пошевеливая в беспомощности разбухшими, черными от засохшей крови губами. Их более энергичные товарищи в трусах или замотанные в простыни рвались к решетчатой двери, за которой ходили или посиживали на стульях милиционеры, просились в туалет, требовали воды, курева, поносили охрану.

Пока таких было немного, человека два-три, милиционеры вели себя лояльно, как будто ничего не происходило: пьяные, что с них возьмешь! Однако когда нарушителей спокойствия становилось больше и они начинали наедать на решетку, а та в ответ скрежетала и билась о железные косяки, грозя рухнуть, милиционеры врывались в камеру, размахивали дубинками, полотенцами, заменявшими здесь веревки, и скручивали кого-нибудь особенно рьяного. «Чё, голос прорезался?!» – кричали милиционеры, наклоняя его носом к земле, и уводили неизвестно куда пустым, открывающимся за дверью коридором, откуда продолжали нестись крики и ругань; через час-полтора закидывали обратно, но уже такого, что не узнать – смирного, мокрого, с перепуганными глазами.

Серик уже бывал здесь. Всё это было ему не в новинку. Койка одного из таких пострадавших оказалась поблизости. Сопя и наливаясь злобой, Серик долго и с неприязнью разглядывал парня, из-за которого его в очередной раз оторвали от сна. Таких скандалистов, не по делу распускающих язык, а то и кулаки, из-за которых достается другим, в уличном сообществе, куда до сих пор относил себя Серик, презрительно называли «бакланами». По закону улиц они не стояли уважительного обращения.

Паренек сидел у себя на койке, худой, голый, с долговязым, посиневшим и трясутым от холода туловищем. С мокрых трусов его натекло на постель. На полу под ногами лужи. Так как койка под ним была низкая, по камерному стандарту, казалось, сидел он на полу, обняв свои острые, высоко задранные колени и положив на них подбородок. Временами он монотонно покачивался. Потом, как будто очнувшись, принимался стонать и медленно, осторожно ощупывал голову в слипшихся растрепанных волосах, шею, бока, на которых можно было пересчитать ребра, дотрагивался пальцами до свежих, припухлых гематом, и бедственное выражение молодого и глупого лица его, и гематомы, и вся его мокрая и жалкая фигура вызывали у Серика только злорадство и раздражение. «Ну конечно, куда же без души!» – подумал он с внутренней усмешкой, морщась от приступа тошноты. Уж ему-то было известно, в каком уголку и насколько доходчиво учат здесь уму-разуму.

Капли воды еще поблескивали на бледном и болезненно вытянутом лице парня, на худощавых, рыжих руках его, покрытых гусиными пупырышками. «Козел!» – думает Серик. Он знает им цену. Не прошло и года, как ему пришлось пережить такое – мама не горюй! Главное – ни за что! Всё потому, что какому-то психу ударило в тупую башку его показать свою крутость и броситься на охранника, пока тот с кипой белья готовил кому-то постель. Произошло это здесь же, в этом же вытрезвителе. Серика в те минуты только-только привезли, и он еще

пребывал в состоянии некоторого блаженства, всё у него перед глазами плыло, двоилось, он даже пытался самостоятельно лечь, держался за стенку, за людей, благодушно улыбался, заводил разговоры. Он и предположить не мог, что какой-то недоумок успел уже захватить охранника в ухо, пока тот стоял, отвернувшись, и метнулся к нему, к Серику, за спину. Кто-то крикнул: «Это он, он, толстый!» Ему показалось, что случилось землетрясение, что разверзлись стены. На него тут же, откуда ни возьмись, накинулась целая толпа разъяренных милиционеров. Стали сдирать с него штаны, рубашку, потом, угощая пинками, поволокли в душевую, и там, затолкав под воду, хлещущую прямо из труб, принялись жутко, со всех сторон обрабатывать его дубинками, кулаками, обмотанными полотенцами. Из глаз его брызнули искры. Ничего не понимая и корчась от боли, он загибался от ударов в бурных, ледяных, обрушившихся на него потоках воды, в которых тут же заоченел, начал захлебываться, почувствовал дурноту, подступающую к горлу, падал, шлепаясь всем своим грузным и беспомощным телом на скользкий холодный кафель, залитый блеском электричества. Ударялся о стены. В голове его помутилось. А удары всё сыпались и сыпались, прорываясь сквозь мрак и звезды, метавшиеся у него в глазах. Откуда-то, казалось, из тьмы, выныривали и выныривали погоны, лычки, кокарды, плававшие самородками, сапоги, лупившие нещадно в живот и под ребра, когда он уже был не в силах подняться. Неистово сверкало золото луж на полу, куда он падал лицом; горели ручьи, в которых он ползал. Рядом мат, крики, помноженные эхом. Наверняка били еще кого-то. Возможно, «баклана», из-за которого всё и заварилось.

Спустя какое-то время душевая была полна пьяными. Все голые. Лица перепуганы. Рукава рубашек милиционеров, метавшихся между ними, деловито закатаны; яркие, как огонь, фуражки с щегольски приподнятыми тульями лихо сдвинуты на бровь или на затылок. Пьяных, которые падали и жались друг к дружке, криками и дубинками загоняли под хлещущие, бурлящие и разлетающиеся алмазною пылью ледяные струи.

Прямо в одежде, в галстук, в белом нараспашку пиджачишке, залитом вином, приволокли какого-то мужичка, сутулого, нескладного, с длинными костлявыми руками, походившего на травяного кузнечика. Вырываясь из рук блюстителей порядка, он закидывал назад вихрастую голову и нараспев, громко, как будто на представлении, выкрикивал стихи, время от времени прерывая их возгласами: «Я поэт! Поэт! Вы не имеете права!» Потом, совершенно потеряв ощущение реальности, начал требовать адвоката. Били его, казалось, всем отделением. Наконец, свалили животом вниз, руки и ноги стянули за спиной все теми же полотенцами, так что пятки и голова его оказались в воздухе, и в таком положении, в положении птицы, так называемой «позе ласточки», устремленной к небу, оставили одного на полу. Кричи не кричи – кругом одни только менты да дрожащая, синяя, ополоумевшая от ужаса и холода пьянь. В памяти его, Серики, брошенного в те минуты на издыхание и валявшегося кучей дерьма, по которому, как по мертвому, стекали последние ручьи и капли, которых он уже не чувствовал, навеки врезалась картина в виде вопящей и извивающейся на полу жертвы, того самого мужичка, костюма его, вымокшего и пластающегося бортами, как крыльями, галстука, ездившего по мокрому кафелю, сверкающему водой, и навалившейся ему на спину кучки милиционеров с багровыми и набрякшими лицами, которые, как будто занятые каким-нибудь созидательным трудом, пыхтели, крякали и крыли по матери.

Фуражки их попадали на пол и алели, подобно цветам, у босых и грязных ног камерного контингента, а по толстым и сизым щекам их скользили градины пота, мешаясь с водой, казалось, лившейся отовсюду.

«В бубен ему дать, что ли?», – подумал Серик.

– Эй, чувак, ты чё, блин, тут кипешуешь? – проговорил он лениво, приподнимаясь на локте и сверля его мутным, вызывающим взглядом. – Ты чё, один здесь?.. Не надо было попадать сюда, ты меня понял?!

Парень молчал, как будто не слышал, и в молчании этом Серик усмотрел пренебрежительное отношение к нему, как к личности, а уж такого он никак не мог вынести.

– Эй! Ты что, оглох?.. В бубен захотел?!

Серик откинул с себя одеяло и выпростал босые, толстые ноги. «Дерьма кусок, – ронял он сквозь зубы. – Мать твою!..» В выражении скуластого, широкого лица его, помимо еще не выветрившегося хмеля, в одну минуту побагровевшего и потемневшего, мелькнуло что-то тигриное, кровавое, что-то от первобытного человека. «Да я тебе!..» Он уже готов был покинуть койку, как парень пролепетал: «Понял, понял». Пролепетал быстро, приниженно, едва покосившись из-под мокрых, рассыпанных по лицу волос на пришедшую в движение настоящую гору смуглых и оплывших жиром мускулов, из недр которой злобно и с ненавистью сверкнули на него раскосые глаза. Новая, неминуемая беда, грозившая ему, как минимум, еще парюю синяков, унижением, болью, а может, даже и поломанным носом, оказалась настолько внезапной и близкой, буквально в полутора шагах, что ему оставалось только одно: подтянуть колени и юркнуть с головой под одеяло.

Но позже одному такому нарушителю спокойствия Серик все-таки въехал. Не поленился, поднялся, раздвинул мощным и тяжелым торсом своим беспокойную, полуголую толпу у дверей, опять ни с того ни с сего устроившую там бучу, и от всего сердца двинул кулаком под дых какого-то слишком уж горластого буяна, метавшегося с криками, бранью и как будто в безумии сотрясавшего решетку. Это был уже не молодой человек, лет сорока, со смолистыми кудрями и каким-то кирпичным, толстым, отвратительно помятым лицом.

– Милиция! Эй! – через силу прохрипел буян, согнувшись от боли.

Но охранников по ту сторону двери почему-то не оказалось. Виднелись одни только стулья. Дыханье у незнакомца перехватило, он упал на колени, тряхнул кудрями и, роняя по полу слюни, между кроватями потащился в угол.

– Ну, твари! Ну, твари! – проговорил Серик. – Дадите вы, в конце концов, спать или нет! – И свирепо воззрился в толпу.

Люди молча и с выражением удивления на мутных и помятых лицах, начали расходиться.

На заре, едва рассвело, снаружи кто-то невидимый одну за другой начал открывать ставни; послышались скрежет, тупые удары о стену. В камеру хлынули потоки свежего воздуха. Но огромная и уродливая лампочка в нише над дверью горела еще долго. Люди поднимались, собирались у окон. За решеткой – ничего, кроме пустого двора и кривого, но пышного клена, ветки которого, казалось, тонули в сером и еще темном на западе небе, а широкие, походившие на ладони листья едва-едва трепетали. Поодаль, в ключьях тумана, высился бетонный забор. Туман, поддуваемый легкими порывами ветра, рассеивался прямо на глазах, усту-

пая место чистому, хрустальному и слегка еще темному свету. И свет этот тихо и сияюще курился в мрачной и глубокой тени забора, в ветках клена, в листьях и еще сером, но уже неотвратимо наливающимся голубизною небе.

В камере поубавилось: приехали за одним, за другим, за третьим. На пустующих койках оставались лежать скомканные простыни, тонкие и грубые «солдатские» одеяла, полусползшие на пол.

В коридоре за решетчатой дверью появился стол, за которым в медицинском халате сидела женщина, пожилая, строгая, со стетоскопом на белой накрахмаленной груди, в очках. Камеры были открыты. Под присмотром милиционеров освобождаемые выстраивались в очередь. Садись на стул. Врач наскоро измеряла давление, заносила что-то в журнал, потом поднимала стареющее лицо в колпаке, из-под которого сыпались мелкие, крашенные кудри каких-то неестественных сиреневых тонов, сверкала очками и говорила:

– Следующий!

Наконец, прибыли и за Сериком.

Троллейбус, которым они с женой добирались до дому, был пуст. Пройдут еще какие-нибудь полчаса или чуть больше, и в нем будет не протолкнуться: люди будут спешить на работу, будут жаться друг к другу в проходах, висеть на поручнях, бросать завистливые взгляды на сидящих, которые беззаботно да еще и с чувством превосходства облепят кожаные скамьи, будут переругиваться, пробиваться вглубь или наоборот – к выходам, усиленно работая локтями, а пока Серик и Гульзада, жена его, были в салоне единственными пассажирами.

Троллейбус, вздымая за собой вихри воздуха, с электрическим гулом, нарастающим с каждой секундой, проносился мимо пустующих остановок. За огромными окнами, залитыми утренним светом, еще отливающим легкую синевою, где-то позади и чуть в сторонке медленно, вершок за вершком поднималось солнце, и лучи его, словно преследуя их, искоса и как будто из-под земли струились сочным малиновым золотом, вырываясь и падая из-за углов зданий, из-за тенистых, развесистых веток гигантских карагачей, берез, кленов, прогнувшихся под тяжестью листьев, из-за кустов шиповника, увитого желтыми и розовыми цветами и выбегающего к самой дороге. Свежий, прохладный воздух, отдающий еще сыростью ночи, влетал в приоткрытые наверху фрамуги. И Серик жадно, болезненно втягивал его ноздрями. Но воздуху всё равно не хватало. Серика мутило, казалось, как никогда прежде. Смуглое, широкое лицо его покрылось зелеными пятнами. Большой и весь какой-то обмякший, он сонно покачивался рядом с женой, которая, отвернувшись, молча глядела в окно. Мысли его были заняты одним: как бы опохмелиться. А то ведь недолго и умереть. Магазины, что изредка пролетали за окнами, поблескивая витринами в нижних этажах облупленных старых хрущевок, были еще заперты, обвешаны замками; на улицах ни души. Разве какой-нибудь одинокий сгорбленный дворник в рабочем халате помахивал под домами метлой, гоня клубы пыли.

Ему было страшно неловко перед женой. Надо же! Угодить в вытрезвитель, чтобы потом за тебя расплачивались другие, тратились на выкуп из своих и без того скудных, нищенских денег, – пусть это даже собственная жена, – было, конечно, стыдно. Но что, что было делать? Такова жизнь. Ладно – не каждый же день. Так думал Серик. Гульзада же размышляла о том, что надо еще успеть на работу, на ковровую фабрику, где она работала сучильщицей, но прежде надо

завести ребенка в садик. И вообще, между ними давно уже ничего общего. И как она терпела этого пропойцу, этого опустившегося человека, все эти годы, всю свою несчастную жизнь!..

– Слушай, – жалобно загудел Серик и тронул ее за локоть, – займи рубль, а?

– Рубль? – проговорила она с негодованием. – Я только что выложила за тебя пятнадцать рублей. Пятнадцать! Мне теперь месяц не на что будет обедать. Другие пойдут в столовую, а мне придется остаться в цеху и строить из себя пердовичку или делать вид, что я на диете, как будто худею, хотя куда уже дальше худеть, не знаю!

– Ну, хотя бы полтинник, полтинник, – канючил Серик.

– Не дыши на меня! Фу! Тебе что, карманы вывернуть? Нету у меня! – резко ответила женщина.

«Ой, япырай!» – подумал Серик, увидев ее лицо, которое до такой степени показалось ему твердым и непреклонным, как будто было высечено из камня.

Через некоторое время он снова заговорил, чувствуя, что надо что-то сказать. Что ни говори, а она выкупила его, не бросила:

– Слушай, а наш сыночек, Бату, он что, один? А ничего, не испугается?

– О ребенке он вспомнил, – раздраженно проговорила жена. – Ты бы о нем вчера подумал, когда пил, сукин ты сын!

Троллейбус летел уже по Тимирязева, то изредка останавливаясь у светофоров, то вновь с гулким электрическим воем набирая скорость на пустынной дороге, словно какой-нибудь лайнер в открытом море. Они сидели плечом к плечу в большом и вместительном салоне, залитом светом, в летающих бликах золотисторозового солнца, среди пустующих сидений, нетронутых поблескивающих кожей, в сверкании хромированных поручней, вымытых стекол. Слева, куда отвернулась жена, вдали медленно и красиво разворачивались яркие травянистые холмы. За ними, мерцая извивами скал и хребтов, проступали очертания гор и тут же тонули, едва показавшись, в темном голубоватом тумане, а еще выше, в небе, как будто нарисованные, слабо и отдаленно розовели снега, кремнистые вершины, покрытые ледниками, колечки облаков, в которых они то показывались, то исчезали. Вдоль речки, диковато блестящей между каменными валунами, потянулись яблоневые сады совхоза «Горный Гигант», и речка, вдруг сверкая, и пенясь, и подпрыгивая по крупным и мелким камням, сунулась под мост, по которому они прокатили. Потом потянулась бесконечная бетонная ограда Ботанического сада. Справа, куда туманным и заторможенным взглядом выставился Серик, в зелени деревьев мелькнули и пронеслись белые стены микрорайона «Коктем», укрывшегося среди аллей и скверов, как будто в лесу. На площади у ВДНХ их обрызгала поливальная машина, и окна залило яркими, хрустальными потоками воды, за которыми вспыхивало и переливалось небо, горы, вершины, сквозившие в дымке.

Он подумал: какая она все-таки бессердечная, как ему плохо, теперь бы кружечку пива, холодного, под шапкой подрагивающей пены. А она размышляла: как она еще живет с ним! Другая бы давно уже бросила, ушла. Но куда? К родителям? У казахов это не принято. Вернут. Всё равно вернут. Сойдутся, съедутся со всех далей, со всех аулов степных, как будто на похороны, апашки, аташки, братья, сестры, родные, двоюродные, призовут муллу. Вспомнят о древних обычаях, о дедах, о прадедах. Важно, причмокивая губами и со светящимися от удовольствия лицами, будут пить кумыс, сидеть вокруг дастархана, поджав

под себя ноги, поедать бешбармак, дымящий жирными и пахучими ароматами, вылавливая из него кусочки мяса в колечках проваренного лука, в прозрачных, расплывающихся сочных. Напомнят, что живет она в столице: театры, магазины, рестораны, – и будто бы ей, аульской, неслыханно повезло. А что она видела с тех пор, как оказалась женой этого бездельника? Ничего, ничего, кроме его толстой и спившейся рожи...

Когда они вошли в квартиру, ребенок еще спал.

– Вставай, Батухан, вставай, айналайын, в садик опаздываем, – с порога зашептала женщина.

– Я тоже в садик хочу, – захныкал Серик, наклоняясь над детской кроваткой, гримасничая и утирая притворные слезы.

Ему нравилось дразнить сынишку, слышать наивный и неумелый лепет его пухлых, неповоротливых губ, встречать блеск его удивленных маленьких глаз. Даже в таком незавидном состоянии, в котором он находился, увидев отпрыска, нехотя продиравшего веки и капризно захныкавшего, он не устоял перед соблазном вызвать у ребенка улыбку, провести ладонью по обритой наголо голове его.

Мальчику было почти четыре, он был достаточно толст, смугл, с большими щеками, в общем, уменьшенная копия своего родителя. Наверное, поэтому Серик и любил его. Хотя насколько откровенными были его чувства, когда он склонялся над ним, над сыном, в младенческом крике смешно и нелепо размахивающем в кроватке толстыми ручками, сказать трудно. Сам Серик вряд ли об этом задумывался. Возможно, в сердце его, омываемом кровью пополам с алкоголем, и отыскался бы уголок, где еще обитали бы чувства и мысли, далекие от того образа жизни, который он вел, но жизнь без выпивки, без задурированных мозгов для него давно уже представляла бессмысленной. Особенно по утрам, с похмелья, когда чертовски тошнило, когда едва ли не выворачивало, а голова просто раскалывалась.

«Ой, Кудая-ай, хотя бы стопочку, хотя бы глоток пусть даже самого отвратительного, самого гадкого вермута!» – подумал Серик, глубоко и болезненно вздыхая, охая и хватаясь ладонями за мясистую и могучую грудь свою.

– А ты, а ты меня в садик возьмешь? – при этом продолжал он шутить, хотя уже и не видел перед собой ни мальчика, ни сердито поглядывающей на него жены – одни только круги перед глазами.

Потом отошел, скинул рубашку и, оставшись в майке, обвислой и потемневшей, с пятнами пота, в полном изнеможении свалился на диван всем своим огромным, всколыхнувшимся от падения телом.

– Не отвлекай нас, – ворчала жена.

Она подняла ребенка, понесла в ванную, умыла его, вконец уже раскричавшегося и расхныкавшегося, а потом в комнате, у зеркала платяного шкафа, начала проворно и торопливо натягивать на него брючки, кофточку, панамку.

– Тебе в садик нельзя, – со всей серьезностью заявил мальчик, уже одетый и надув щеки.

– Почему? Я тоже маленький. У меня вон ручки маленькие, у меня ножки маленькие...

– Нет, они у тебя большие! А еще ты в автобус не поместишься!

– Почему? – воззрился на него отец, и на широком скуластом лице его, разбухшем от отеков, заблестела испарина.

– Потому что пьяные в автобус не помещаются! – совершенно серьезно проговорил ребенок.

– Ладно, все! Нечего с ним болтать, – одернула Гульзада сына, – опаздываем!

Она поспешила в спальню, а когда вышла, худые и жилистые руки ее оттягивало по чемодану.

– Я ухожу. В общежитии мне обещали комнату. Живи, как хочешь.

Гульзада исчезла в прихожей. За ней, цепляясь за ее подол и поминутно оглядываясь большими и взволнованными глазами, поспешил и мальчик.

– Э-э, – отмахнулся Серик.

Такое он уже слышал. Размолвки в семье происходили нередко. «Приготовилась заранее, – подумал он. – Чемоданы набила».

Он отвернулся к спинке дивана, вытянулся поудобней и проворчал:

– Щас! Переживать буду... Давай-давай! До свиданья!

Ему тоже были известны вековые обычаи. «Вернут! Обязательно вернут, вот ведь собаки!» – думал он о сородичах со стороны жены. Не пройдет и недели, как снова будет стучать здесь чемоданами, но уже распаковывая их, и обязательно под присмотром тещи, тестя, дядей, тетей; притащатся и остальные – с орущими на руках младенцами, со старухами, цепляющимися за свои палки. Еще и жить останутся на месяц, а то и два. Кому хочется в степь, где одна только голая земля да ветер! А ведь как было бы хорошо! Сам себе голова. Делай, что вздумается. Живи, как хочешь... Не-е, без женщин все-таки лучше. Им все равно не угодить, хоть наизнанку вывернись... Это им не так, то им не так...

Превозмогая упадок сил и похмельные боли, которые, как какой-нибудь жидкий чугун, то и дело переливались в гудящей, как колокол, голове его, он ждал одного – когда, наконец, в прихожей захлопнется дверь. Он помнил, как ночью, в кустах на «пьяном» углу, скрываясь от милицейской погони, сбросил какие-то деньги, помнил смутно. Перед глазами всплывали монеты, мелькающие то медью, то серебром и с шорохом проваливающиеся куда-то во мглу при свете одних только звезд. «Надо непременно найти их, – подумал он. – Будет хотя бы с чего начать. Интересно, как Капочка? Везет же людям! И как его не повязали? Дрыхнет, наверное. А то бы давно уже свистнул».

Обычно Капочка просыпался рано. Подходил под балкон и тихо троекратно свистел. Серик прихватывал на кухне авоську, прятал ее в карман, и ни свет ни заря, позволив себе только перекурить, посидеть у подъезда на старой и разбитой скамейке в тени палисадника, пестрящего цветами и зеленью, они отправлялись на промысел, собирать бутылки, иначе говоря «пушнину», как нередко выражаются в кругах, связанных с употреблением горячительного.

Но Капочки до сих пор не было, и Серик решил, что, пожалуй, вздремнет, а потом видно будет – он ли к нему пойдет или Капочка сам в течение этого времени появится у него под балконом. Но сухость во рту, мучительная и вяжущая, как будто нарочно обострившаяся, как только он лег, а особенно тошнота, не давали покоя. «Сейчас бы рассолу», – подумал Серик. Хотя рассола в доме никогда не было. «Толку от этой жены, – ругался он про себя. – У других вон и маринованные грибы в банках, и баклажаны, и помидоры, и моченые яблоки, а эта даже огурцы не научилась закручивать! Тогда, может, воды? Прямо из крана? Нет, не стоит. Будет лишь хуже. Тогда уж терпи. Магазины открываются в восемь

Пивная на Солодовникова – в девять». И он остался лежать, то проваливаясь, как в омут, в мрачное и короткое забытие, полное какой-то смутной тревоги, то вдруг очухиваясь и озираясь вокруг ничего не понимающими глазами, как будто бы застланными туманом. Опять грезилось пиво, холодное, желанное, в бархате которого плавали звезды, пена, облепившая губы... Бока и живот его, влажные от липкого и холодного пота, неприятно пощипывало, как если бы по ним ползали мухи.

Внизу, под балконом, за дверью, в летнюю пору всегда приоткрытой и слегка трепещущей кисеей занавески, внезапно раздался громкий и сварливый голос жены:

– Эй, Серик! Эй, вставай, к тебе дядь Коля идет. Ты меня слышишь?

«Она что, не уехала?» – мелькнуло у него в голове.

– Слышу, слышу! – прогудел он через минуту.

Набравшись сил, потихоньку, охая и постанывая, с трудом поднялся, постоял, посопел с недовольным лицом и, пошатываясь, двинулся к двери, искоса поглядывая вниз, на большой палец ноги, что выпирал из дырки в засаленном носке.

В прихожей было темно. Дверь оказалась не запертой и тут же открылась. За щуплым, сгорбленным силуэтом дядь Коли блеснула лестничная площадка, залитая светом из подъездных окошек, показалась соседская дверь в клеенчатом глянце, ступеньки, крашенные в коричневое повороты перил.

«Здратье», – промычал Серик и нажал на выключатель. Дядь Коля держался за стенку. В жидких и наполовину седых волосах его, прилизанных к затылку, сквозили проплешины. Нос уныло опущен. В ветхом своем пиджачишке, казалось, пропитанном пылью канувших в небытие десятилетий, и почему-то в галстук, тощий и низенький, он казался каким-то трагически согбленным артистом из какого-нибудь старого кино. В широко раскрытых глазах его, красных и с воспаленными веками, которыми он пристально всматривался в него, Серика, стояли слезы. Небритое лицо его было искажено и, казалось, более обычного изрезано морщинами. Он подошел, не отпуская стены, бледный, трясущийся, с мокрыми и наполовину раскрытыми губами, в которых как будто застыли, не в силах выдаться, какие-то звуки. Простонав что-то невнятное, дядь Коля ткнулся ему в грудь, потом отвел голову назад, внимательно и как-то подозрительно взглянул на него снизу мутным, гневным и в то же время нерешительным взглядом, цепко обеими руками ухватился за майку и, явно не в состоянии более держаться, сполз на пол. От него разлило вином вперемешку с табачными и прочими кислыми и затхлыми запахами, свойственными как пропойцам, так и одинокой, неухоженной старости.

– Что? Что ты сделал с моим сыном? – завыл Николай Николаич, тряся его за колени и поднимая на него глаза, искаженные от горя и залитые слезами. – Что? Что ты с ним сделал? Он в коме, в больнице...

– Ничего я не делал, – удивленно выдал из себя Серик. – Меня ночью менты повязали. Я только из вытрезвилки. Вон, хоть у Гульки спросите.

– Он в коме. Понимаешь, в коме! – ничего не слыша, стонал и всхлипывал Николай Николаич, повалившись у него в ногах. – Врачи говорят: может не выжить. Весь в трубках... Весь в трубках!

– Я-то думал, он дома, его ведь не взяли, – потерянно бормотал Серик. – Но что, что произошло?

Серик подхватил его под мышки. Николай Николаич молчал, и только когда оказался на ногах, жалко и в каком-то крайнем исступлении взглянул на него глазами, полными слез, отступил назад и резко, озлобленно махнул рукой. Наконец, ушел, так ничего и не сказав, тощий, сгорбленный, бессильно пошатываясь и вновь только отчаянно отмахнувшись. Рубашка его сзади выбилась. И Серик вдруг вспомнил, поглядывая ему вслед, на этот угол рубашки, вилявший над обвисшими и стертymi до блеска штанами несчастного старика, отца его друга будто бы в фургоне, набитом пьяным и поутихшим народом, куда его затолкали, на полу кто-то лежал. Но вряд ли это был Капочка. А может, все-таки он? И его охватило волнение, которое, казалось, еще более усугубилось, когда он остался один, когда закрыл за Николай Николаичем дверь, и тот, цепляясь за перила и уронив голову, весь в ярком и бушующем свете подъездных окошек, потащился вниз.

Серик вернулся в комнату. Прозрачная занавеска над балконною дверью слегка пошевеливалась. С улицы доносились звуки и гул пролетающих за домами машин. Как же так! Что могло произойти? Серик присел на диван. Хотел включить телевизор, потом передумал, потянул с себя майку, почти всю мокрую и никак не желавшую покинуть его потное тело. Направился в ванную. «Как же так! Его чё, ударили по голове? – раздумывал он под шум воды, хлынувшей из-под крана. – Может, пырнули ножом, когда, скрываясь от милиции, мы рванули в разные стороны? Но кто? Кто? У него и врагов-то не было...» Переживая за друга, за близкого человека, знакомого, как говорится, с детских игр, с которым он столько выпил, столько всего повидал, пока он намыливал лицо, шею, пока принимал ванну, утопая в шампунной пене, он выдвинул не одну подобную версию, посетовал на судьбу, на слепой ее произвол, от которого никто не застрахован и от которого, как правило, страдают самые лучшие, самые достойные. В конце концов пришел к выводу, что пить сегодня было бы кошунством, что день следует провести чинно, серьезно, как того требует приличие, когда близкий тебе человек находится в больнице, да еще в таком состоянии. Но похмелиться все-таки надо. Как же без этого! И охнув, вздохнув, с тяжелой, чугуною головою, раскалывающейся от боли, с беспокойным сердцем, стучащим, как при инфаркте, едва только вытершись, он переоделся и потащился на «пьяный» угол. Там, в кустах, всегда можно было встретить кого-нибудь из собутыльников, а повезет – и похмелиться. По крайней мере, можно будет походить, поискать завалявшуюся посуду. Поллитровая – 12 копеек, большая – 17. Десяток бутылок – и можно жить. А если к этим деньгам присовокупить и горстку монет, которую он сбросил... Вот только он никак не мог вспомнить, в каком месте он их оставил.

Надо заметить, что в те не столь уж отдаленные годы в большой и прекрасной стране Советов пьющему человеку, даже безнадежно пропащему, лишившемуся благодаря своему пристрастию и дома, и семьи, и работы, и ударившемуся в бродяжничество, вполне можно было прожить. Зайдя в какую-нибудь столовую, которых в городе было немало, беспрепятственно открытую для всякого проголодавшегося, в чебуречную, закусную, на скорую руку сооруженные где-нибудь при автовокзале или на рынке, вы нередко могли встретить живописные группы оборванцев в три-четыре человека. Худые и изможденные лица. Синяки, разбитые вдребезги губы, нос, съехавший в сторону. На женщинах – линиялые чулки, сползающие кольцами с серых и высохших икр. Жалкое, неприятное зрелище

разбитых и размолотых жизнью человеческих судеб. Зато на каждом столе, вокруг которого собирались эти несчастные, всегда был нарезан хлеб, выставяемый бесплатно. Стояла соль в солонках. Сохла, покрываясь коричневыми пленками, острая и душистая горчица в мелких фарфоровых склянках. Разумеется, котлеты или сосиски стоили каких-то денег, но их можно было и не заказывать, а вот гарниры, подаваемые к ним, к этим относительно дорогостоящим блюдам, из пышной, разваренной гречихи, пшенки или перловки, да еще и политые соусом исходящим чудным мясным паром, шли всего-то по пять-шесть копеек за порцию. Стакан чаю – одна копейка, с сахаром – три. Нет, погибнуть в те годы от голода было просто невысказано. По крайней мере в Алма-Ате, где и происходили эти события. Даже если человек не работал. Были бы бутылки. А уж их-то всегда можно было добыть, если не поленишься.

Бутылка вина, водки, пока в ней что-нибудь плещется – объект удовольствия, радости, ощущения собственной значимости и на физическом уровне, и на метафизическом: развязывает языки, распахивает души. А когда бутылка пуста – это та же валюта... Неудивительно, что, оказавшись на «пьяном» углу, Серик незамедлительно бросился обследовать заросли кустарника на предмет их обнаружения, опускаясь на корточки и стараясь проникнуть в самые темные, самые сокровенные уголки в надежде, что попутно на глаза попадетя и его собственная мелочь. Ведь где-то она лежит. Ждет, поблескивает в траве. По Джандосова вовсю уже носились машины, автобусы, троллейбусы, полные пассажиров, по Жарокова грохотали трамваи, тротуары и там, и здесь были запружены спешащими куда-то людьми. За забором на стройке кипела работа, между устремленными в небеса прутьями арматуры двигалась ажурная, тонкая башня высотного крана. Над фрагментами голых кирпичных стен виднелись фигуры каменщиков, которые ловко управлялись со своим делом. «Значит, и магазины уже открыты, – думал Серик, – а в кармане еще ни копейки».

Пока он ползал в кустах, поднялся ветер, прошелестел дождь, короткий и мелкий, расчистилось и засияло небо. В авоське у Серика поблескивала пара бутылок, и когда он вышел к забору, то увидел нарисованного на нем человечка. Изображение как изображение, плод творчества какого-нибудь маленького бездельника. Пройдя мимо, он пригнул голову и нырнул было в бурьян, под которым заметил группу камней, а значит, место было насиженным, в таких-то местах чаще всего и хоронятся пустые посудыны, как вдруг... изображение на заборе пошевелилось. «Померещилось», – подумал Серик. Шагнул дальше и там, в зарослях, неуверенно обернулся. Человечек на заборе кашлянул и, как ему показалось, дружески подморгнул. Серик остолбенел. Улыбка на лице человечка, без какой-либо причины протянувшаяся от уха и до уха, радостно и даже как будто с восторгом поехала из стороны в сторону, распахивая еще шире, еще бессмысленнее и без того огромную, пустую ротовую полость. Но вот человечек приподнял узкую, необыкновенно высокую шляпу-котелок и тихо, как если бы прошелестел ветер, произнес:

– Здорово, братан.

И глаза его (глаза рисунка, изображения, мать его!) – вернее, обозначенные мелом две жирные, белесые точки загорелись на синем, обшарпанном фоне забора не хуже, чем звезды на небосклоне.

Серик уронил авоську, и бутылки с каким-то тревожным звоном покатались в траву. Вот блин! Белая горячка. Допился. Говорят, она так и начинается. Серик

побледнел и бросился было в кусты. Подальше от этого места.

Но изображение вдруг воскликнуло:

– Серик, брат, это же я, Капочка, ты чё, не узнал?

Серику показалось, будто он потерял дар речи.

– А деньги, деньги, брат? Помнишь, мелочь, которую ты сбросил? Вот она, здесь, в траве.

И человек поторопился указать ему движением руки, напоминавшей древесный сучок, на кучку монет под забором, где частично на досках, а частично на листьях тонкого и облетевшего одуванчика, казалось, еще исходило солоноватым и отвратительным испарением влажное косое пятно, оставленное собакой.

Серик механически сунул мелочь в карман, однако все еще подозрительно, раскосыми и, казалось, повывлезами от удивления глазами не переставал поглядывать на странное, ожившее вдруг изображение, после чего нагнулся и подобрал бутылки.

– Видел, как вчера тебя загребли. Сочувствую, – все с той же улыбкой, растянутой во всю ширь, произнес человек.

Серик поколебался, неловко переступил с ноги на ногу, потом произнес:

– Ладно, я это... как его?.. надо идти... сушняк...

– Значит, все-таки не узнал, – разочарованно протянул Капочка, однако не оставляя все той же широкой, непонятной и какой-то по-детски беспечной улыбки.

– Чё не узнать-то, узнал!.. Чё, я совсем, что ли? – побагровел Серик, потом прибавил: – Ты это, брат... Тормоза! Я чё-то не въехал. Ты ведь вроде как в коме, в больничке?!

И голос его дрогнул.

Но человек продолжал улыбаться, причем с такой невозмутимостью и обожанием взирая на Серика своими молочно-белыми и не совсем симметрично выдавленными по лицу точками, которые, надо полагать, служили ему глазами, что Серик понял, что сказал что-то не то.

Человек поморщился:

– В какой коме, чувак? Ты чё, не похмелился? Больничку приплел! Вот он я, вот! Крыша, что ли, поехала?

Серик виновато хмыкнул.

– Ладно, хрен с ним, – сказал человек и обстоятельно, все с той же непонятной для Серика радостью, сквозившей в его бесконечной нарисованной улыбке, поведал, как его едва не смыло дождем буквально сегодня утром. Попросил поскорее купить мела, – такие мелки в форме брусочков продаются в каждом газетном киоске вместе со школьными принадлежностями, – купить мелок и пририсовать ему зонтик, как у того, у настоящего человека, из мультика.

– Серик, помнишь? Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Палка, палка, огуречик... Мы его вместе смотрели, когда у нас еще телек был, помнишь? А? Нет?

– Да вроде как помню, – проговорил Серик.

– Понимаешь, еще один дождь, и мне кранты. Меня просто смоеет.

Серик разгоряченно выругался и сплюнул:

– Да сделаем, блин!

– Вот и по рукам. Вот и по рукам, – зачистил человек. – Давай, только в темпе.

Вечером опять хлынет, как пить дать, – и вежливо, в знак прощания, все с той же неизменной улыбкой, безбрежной и благодушной, подпирившей ему ушные раковинки, торчавшие по краям головы в виде двух маленьких, осыпанных мелом завиточков, притронулся к котелку.

Серик неуверенно ослабился и пошел, поминутно оглядываясь. Когда большая, круглая медвежья спина его скрылась в густой и по-летнему пышной листве закачавшего прутьями кустарника, человек, как будто спохватившись поторопился совершить еще и глубокий, вычурный поклон, какие проделывают артисты, когда их вызывают на бис.

С тех пор как Капочке открылись его возможности, каждое движение доставляло ему почти волшебное удовольствие, как если бы он выиграл в лотерею.

Когда он выпрямился, он услышал, как в зеленой, непроницаемой глубине кустарника звякнула пара бутылок в авоське старого и доброго его друга.

Газетный киоск располагался близко, в полутора кварталах, около гастронома «Луч». Серик купил брусочек школьного мела, который хозяйка киоска, полная и пожилая женщина, походившая на учительницу, завернула ему в бумажку, постоял в очереди у «Приема стеклопосуды», сдал бутылки, получил 24 копейки и поспешил в пивную на Солодовникова, полагая, что покуда подлечится, с человеком на заборе ничего не случится: солнце светило ясно, в небе ни облачка, в кустах и деревьях сновали птицы, пели, чирикали.

Пивная на Солодовникова была заведением открытым, на свежем воздухе и, понятное дело, огороженная забором. Точно таким же, как на Жарокова и Джандосова. Такими заборами, выкрашенными в синюю или зеленую краску, обносились не только строительные площадки тех лет, но и торговые точки, возникавшие ни с того ни с сего где-нибудь на пустырях, на обочинах дорог или прямо посреди улицы, если та была не проезжей и не асфальтированной, как, к примеру, на Солодовникова, будь то пивные, овощные ларьки, стеклопосудные лавки, пункты приема макулатуры или даже металлолома.

Народу в пивной оказалось немного, как обычно в утренние часы. Деревянные столики, стоявшие на одной ножке, почти все были свободны. Только у некоторых, нежась на утреннем солнце или укрывшись в тени навеса, что раскинулся над половиной заведения, потягивали пиво по одному, по два посетителя. Толстыми стеклянными гранями поблескивали на солнце опорожненные и забытые на столах кружки. Над одной из них, с янтарной полоской недопитого пива, гудела парочка злобных дерущихся ос.

За окошечком пивной, представлявшей собой тесную, невзрачную будку, сколоченную из досок, священнодействовал некто толстый и довольно общительный, с кавказским акцентом, которого все знали как Гогу. Заглянув внутрь, посетитель мог видеть подвязанный фартуком его огромный живот, который плавал и терся о край прилавка, вечно залитого водой или пивом, а сверху, в полумгле, будто бы ряд лампочек, светились и вспыхивали во рту его золотые коронки, когда Гога в разговоре или ломаном приветствии одаривал посетителя приятной улыбкой. Над блещущей золотом улыбкой топорщились усы, а на ручке бочкового крана, сиявшего никелем, из которого с тихим и каким-то волшебным шуршанием извергались упругие, золотисто-шафранные струи, покоилась его толстая, волосатая рука, украшенная дутой, широкой печаткой червонного золота. «Подходи, дарагой! Следующий... Следующий, – сверкал он печаткой и коронками. – Как

самочувствие, дарагой?.. Ничего, ничего, щас будет харашо!..»

Отстояв очередь в два или три человека, Серик получил, наконец, свое долгожданное пиво и, сжимая кружку обеими руками, которые вдруг затрясло, как будто в лихорадке, уже не имея терпения, пыхтя и потея, сделал маленький, суетливый шажок в сторону. Один только дух пивной, повисший над кружкой, дух крепкий и свежий, возбуждающий, попахивающий хмелем с легкой кислинкой, созерцание одной только пены, поднимающейся у него на глазах легкой, невесомаю массой пузырьки которой, прозрачные и золотистые, зыбкие, будто бы сам воздух, то неслышно шипели, то зеркально круглились, то лопались, то разлетались звездами, действовали на него, на исстрадавшееся сердце его, на нервы его, истощенные похмельем, будто бы бальзам. И вот когда пена над кружкой взмыла до немыслимых размеров, качнулась и нехотя поползла через край, и хлопья ее, искрясь и поигрывая, полетели вниз, под ноги, Серик вытянул губы, чуть отступил и с не унимающейся дрожью в руках собрался, было, наконец, осуществить мечту предыдущей мучительной ночи, как неожиданно его окликнули:

– Серик, братэла, мать твою! Ты ли это?

Окликнули грубо, но чувствовалось, что с радостью, сквозившей в пустой и непреднамеренной грубости, обычной для нетрезвого общества, которое собиралось в пивных.

Серик обернулся. Под навесом в углу, с кружками в руках и глядя на него с улыбкой, стояли двое парней.

И вдруг он вспомнил, что где-то их прежде видел.

– Елки-моталки! Какие люди! А вы-то как здесь? – направился он к ним.

Слово за слово, и все трое, слегка похмелившись и приведя наконец память в порядок, стали с удовольствием припоминать, где и при каких обстоятельствах они познакомились. Вспомнили, что именно пили – белое, красное. Кто и до какой степени тогда наклюкался. Кого тащили на закорках, а кто, невзирая ни на какие предосторожности, всё же полетел в грязь. Пиво – не водка, однако на старые дрожжи ударило ощутимо, лица собеседников ожили, налились алыми и багровыми тенями. Покатываясь с хохота и обгладывая леща, поблескивающего солью и высохшего до состояния дерева, вспомнили, кого и как кличут. Одного кликали Юрка Симфония, но не потому, что имел какое-то отношение к музыке, а потому что фамилия его была Симкин. Другого – Булкиным, производное от классического казахского имени Булат. Пиво, конечно, дело хорошее. Особенно когда свежее, когда еще оставляет во рту легкую и приятную горечь, будоража слизистую ноздрей еще упругими, еще хлесткими запахами брожения. Однако не мешало бы чего и покрепче. Деньги водились: Булкину на днях выдали расчет, как уволенному с работы. А на прощанье в трудовую книжку вклеили формулировку: «За оставление рабочего места без уважительных причин». Круглая государственная печать. Подпись ответственного лица. Завод электромеханических изделий, город Алма-Ата, слесарь-ремонтник, Статья 33, пункт «а», а может, и «б», – Булкин уже и не помнил... Да и к чему?

Что означала потеря работы в те славные годы, в самый расцвет эпохи социализма? Хотя бы и за прогулы? Хотя бы и за пьянство? Не более чем пару недель полной и неограниченной свободы, когда в кармане у тебя еще кое-то шуршит, звенит, и можно легко и не раздумывая уйти в запой, одному или с друзьями. Правда, по истечении этого срока, а может, и раньше, от денег оста-

нется пшик, и придется побираться, зарости неопрятною бородой, грязью. Потом зайвится участковый, возьмет под козырек, даст несколько вежливых советов, если только не даст пинка, и работу придется найти. Таков был Закон. В стране Советов безработицы не существовало. Какие бы устрашающие записи ни вносились прогульщикам и тунеядцам в их трудовые книжки, как бы жестоко и справедливо их ни клеймили на производственных собраниях и на страницах газет, их всё равно были обязаны принять, как тогда говорилось, на трудовое перевоспитание – не на завод, так на стройку, не на стройку, так грузчиком, не грузчиком, так в дворники.

А пока дружной гурьбою, обнимаясь и балагурия, в приподнятом настроении все трое отправились в «Луч», накупили водки, закуски. Заросли кустарника на «пьяном» углу встретили их тенистой прохладой, по-матерински заботливо укрыли от постороннего глаза. Капочка видел, как они, согнувшись, один за другим втянулись в кустарник со стороны Джандосова, но более уже не мог различить их, ни Серика, ни его товарищей, как будто все трое, оказавшись под сенью густой, плотной и раскинувшейся до самого перекрестка листвы, сонной, яркой и тихо вспыхивающей на солнце, – как будто бы все трое потонули в море. Только отголоски их разговоров время от времени выбрасывало наружу, тем самым выдавая их невидимое присутствие:

– Ну чё, поехали?

– Братэла, да давай уже не тяни!..

– Эх, хорошо покатила... Колбаску, колбаску бери...

– Серик, бра-ат! – пытался докричаться Капочка. – Бра-а-ат!..

– А вот еще один анекдот, – вынеслось из кустов. – Встретились Хрущёв, Неру и У Тан. Ну, там водяра, закуска. «Пить надо в меру», – сказал Неру. «Пить надо полный стакан!» – сказал У Тан и посмотрел на Хрущёва. «Всегда готов!» – сказал Хрущов.

В кустах завизжали, залились хохотом.

– А закусывали чем? Кукурузой?

– Кукурузой, чем же еще? Ничего ведь нет. Мясо подорожало, масло подорожало...

Время пролетело быстро. Хотя летние дни и называются долгими, солнце совершенно неожиданно склонилось к закату, в небе появились вечерние облака. Капочка видел, как пьяная тройца, едва стоявшая на ногах, покинула кусты, исчезла в водовороте прохожих. Повеяло сыростью, и в листьях кустарника прошелестел ветер.

– Серик, подожди! Се-ери-и-ик! – пытался докричаться Капочка. – Эй! Эй! – махал он в отчаянье котелком.

А скоро опустилась и мгла. Загорелись фонари. К полуночи перекресток опустел. Ни машин, ни людей. В домах за перекрестком, как и минувшей ночью, светились окна, желтые, красные, зеленые, голубые, за которыми наверняка посиживали или полеживали у телевизионных экранов уставшие за день люди. Над черными скатами крыш белели очертания труб. Выглянул серпик луны, хлипкий и тонкий, подрагивающий, как будто бы из последних сил испускающий бледный, мертвенный свет. И вдруг закачался, исчез, провалился в темных и бурных наплывающих отовсюду тучах, моргнули и исчезли звезды. Снова поднялся ветер. Сбрасывая листву, скрипя и стеная, как будто выказывая бурное недовольство,

мрачными, ночными гигантами согнулись деревья, заходили под ними кусты. Над перекрестком чугуною тенью тяжело метался потухший светофор, точно пытаюсь вырваться из вцепившейся в него паутины проводов.

«Совсем как вчера, – подумал Капочка, – совсем как вчера...» Поглубже натянул котелок, всхлипнул и почувствовал, как вздрагивает и поскрипывает под ним забор, как его валит в кусты, как он, Капочка, едва не бороздит их носом и вдруг оказывается вознесенным во мглу, в ветер, в сырость. Древесные запахи кружащие над ним, становились невыносимы. И тут он вспомнил о куртке, о старенькой своей «брзентушке». Как бы она теперь пригодилась! Вспомнил скрючившееся под забором тело, которое милиционеры определили как труп, а после за руки и за ноги, ломая кусты, понесли в автозак, и теперь мертвое и посиневшее тело это, худое и длинное, показалось ему ужасно знакомым, как если бы оно принадлежало ему, Капочке. Впрочем, как и «брзентушка». Как и огромные, болтающиеся из стороны в сторону ботинки на тощих ногах. Как и запрокинутая голова, сквозившая в кустарнике. Лица он не разглядел, а потому принадлежность его оставалась в неопределенности. Но куртку, куртку его, «брзентушку», понесли за ним, за мертвым. И он вспомнил, что где-то читал, будто бы мертвые, прежде чем окончательно перейти в небытие, обладают способностью еще какое-то время видеть оставленное ими тело. И ему стало дурно. И он опять всхлипнул.

Но вот погасли и окна. Ветер разыгрался с ужасающей силой, понес над тротуаром и под фундаментами домов оборванные с деревьев сучья, листья, белевшие во тьме обрывки газет, и все это кружило и металось в клубах пыли. Где-то за домами, в отдалении послышались звуки посыпавшегося стекла, крики, грохот железа, вероятно, слетевшего с какой-нибудь крыши. Фонари на перекрестке тревожно мигнули раз, другой, и свет их из желтого, яркого превратился в чуть красный, ни дать, ни взять – угли в остывшей печи, так что под ними не проглядывали уже ни проезжая часть, ни рельсы, по которым совсем недавно грохотали трамваи. Как будто во всем мире, проглоченном мраком, оставались гореть только они, эти красные умирающие огоньки, нити которых тянулись в разные стороны, раскачивались и пропадали во мгле среди темных и спящих улиц. Но и они продержались недолго. Видимо, порывами ветра, который все усиливался и носился уже со свистом, оборвало где-нибудь провода, и теперь всё и вся погрузилось в совершенную тьму.

И лишь за забором, на стройке, продолжало гореть маленькое окошко. Это в вагончике, стоявшем на спущенных скатах, в лучах керосиновой лампы, пытался читать какую-то книгу ночной сторож, старик Боранбай, в толстых, тяжелых очках, в седой щетине на изрезанном морщинами лице. Когда в окошко вместе с летящими листьями ударили и капли дождя, старик оторвался от книги, поправил очки и выставился в бурную, беспокойную ночь. Под днищем вагона заворчала собака. Это был пес, приبلудный. Старик подкармливал его, и пес отвечал ему благодарностью, льстиво и с любовью помахивал хвостом, когда он сходил со ступенек, сопровождал при обходах, злобно и неистово лаял, прогоняя с территории строительства посторонних: и людей, и котов, и даже своего брата – собаку; одним словом, служил, обрабатывая свой хлеб преданно и, как говорится, выказывая чудеса храбрости.

Видно было, что дождь заладил надолго. Стекающие по стеклам шумные и

однообразные потоки воды, барабанная дробь, с силой и оглушающе раскатывающаяся по крыше, моргающий свет керосиновой лампы, мирно и тускло заливающий поверхность стола, за которым сидел сторож, тянули ко сну, и он уже поклевывал носом, очки его вдруг свалились на раскрытые страницы. И вот уже вслед за очками в книгу мягко ткнулся и сам старик, тряхнув плешивую голову в легком серебряном пуху последних волос. И снилось ему не что иное, как строительный объект, к которому он был приставлен: кирпичные высокие стены, черные провалы окон, над которыми гремел гром и ослепительно, страшно вспыхивали молнии. Дождь, который заливал все вокруг. Снилось, как будто кто-то кричит: «Помогите! На помощь! На помощь!» И крики эти, казалось, исходили не из черных и многоэтажных башен и переходов стройки, а откуда-то из глубин его самого, из собственного его сознания. Разбудил его лай собаки.

Старик приподнял голову, протер ладонью холодное, забрызганное окно, за которым лило как из ведра. «Видно, кто-то проник на территорию», – подумал он. Крики возобновились. Вот беда-то. Этажей понастроили, а ограждений-то никаких, ни на балконах, ни на лестничных пролетах. Не дай Бог, кто-нибудь оступился. Тогда и костей не собрать. Как назло, и электричество отключили. Темно, как в яме. Накинув плащ и прихватив керосиновую лампу, – никаких других осветительных приборов у него не было, – старик, кряхтя и поругивая начальство, сошел в ночь. В ноги ему в отсветах керосиновой лампы метнулась собака, с дымящейся под дождем шерстью, с мокрой, возбужденною мордой, завильяла хвостом, залаяла в сторону ворот, которых было не видно, и если бы не молния, которая на мгновенье кривыми, ослепительными и пылающими зигзагами прорезала черную бездну неба, а заодно озарила и землю, превратившуюся в грязь и месиво, старик потерял бы из виду и пса, и ворота, к которым надо было еще добраться. «Как, а разве не там? – спросил он растерянно, приподняв керосиновую лампу, едва чадающую тусклым и помаргивающим язычком пламени, и указывая ею в направлении стройки. – Нет, не там?.. Ну что ж, тебе виднее...» Чудовищными, металлическими раскатами прогремел гром, так близко, что старик инстинктивно пригнулся и, вздрагивая, поправил на голове мокрый, отяжелевший башлык, по которому стучал дождь.

«Эх, нелегкая тебя возьми, – подосадовал Боранбай, оказавшись за воротами, – и здесь ни одного фонаря. Ну и погодка!» Выставив перед собой лампу, чавкая сапогами в черной и жирной грязи и оступаясь в лужи, в которых плясал дождь, он поспешал за собакой, которая то исчезала во тьме с громким и бешеным лаем, то вновь оказывалась у его ног и снова кидалась во тьму, в дождь. «Помогите! Помогите!» Крики были уже настолько слабы, как если бы их издавал умирающий.

Они торопливо пробирались вдоль забора. Сначала по Жарокова. Потом свернули на Джандосова и оказались в глухом, темном и вымокшем кустарнике. Собака как будто окончательно спятила. Стала прыгать и облаивать забор. Однако в ответ ни звука, кроме шума дождя, который монотонно и грустно лил, журчал, барабанил в листьях. Сколько старик ни вглядывался, на заборе никого не было. Понятное дело. Какой дурак в дождь на него полезет! Однако и внизу ни души.

Согнувшись едва ли не вдвое и освещая себе путь лампой, старик Боранбай прошелся и по зарослям. И там никого. Собака вновь кинулась к забору, но на этот раз не лая, а как-то растерянно сникнув, скуля и лишь извиваясь всем тощим

и вымокшим телом, блестящим под дождем, как будто стеклянное.

На помощь уже не звали.

«Видать, показалось, – подумал Боранбай, – совсем уже состарился». При тусклом и моргающем свете лампы он увидел, как с ручьями воды жидким, разбавленным мелом стекает с забора коротенькое неприличное слово. Собака ткнулась ему в колени, взвизгнула, завилыла хвостом. «Да и ты, – промолвил старик, потрепав ее за загривок, – да и ты... не лучше...»

* * *

Серика, досматривавшего какой-то непонятный, путанный сон, посетило странное ощущение, будто бы под кроватью у него стоит бутылка вина. Причем непочатая. И вино это очень дорогое, марочное, которого прежде он никогда не пил. Однако не успел он разлепить глаз, как в голове у него загудело, как если бы в мозгу у него лопнул какой-то толстый и важный нерв, лопнул и издал звук, подобно разлетевшейся на части струны, и гул от этого порыва все расходился и расходился, как круги по воде. Потное и липкое тело его как будто онемело. Во рту стояла ужасная сухость. Желание снова вернуться в состояние сна, чтобы ничего этого не чувствовать, еще некоторое время доминировало в нем. Однако ночь подходила к концу. В окна лучился рассвет. С огромным трудом, издав какие-то нечленораздельные звуки, Серик повернулся на другой бок, подложил кулак под щеку и всё же попробовал уснуть, но ощущение, что под кроватью бутылка, причем не простая, и что она ждет его, ждет, как какое-нибудь верное и преданное существо, уже не отпускало его. Мучило, не позволяло сомкнуть глаз.

В конце концов, вместе с одеялом, из-под которого он не желал выбираться, он сполз на пол, сунул голову под кровать и, не совсем еще веря тому, что предстало взору его, в котором еще туманом стояли обрывки недосмотренных снов, удостоверился в истинности своих ожиданий. Под кроватью и вправду, испуская какое-то чудное сияние, вырисовывалась бутылка совершенно непривычного вида, приземистая, чрезвычайно широкая, опоясанная рельефной круговой этикеткой в гроздьях винограда, отсвечивающей где бронзой, где малахитовой зеленью, где небесною синью, и с длинным, как у графина, горлышком, запечатанным фольгой. Это было «Токайское», вино заграничное, венгерское, дорогое, которое подавалось лишь в ресторанах.

Хорошо похмелившийся, чуть пьяный, с порозовевшим лицом, с ощущением счастья в груди, Серик, словно какой-нибудь школьник, сбежал по ступенькам. Двери подъезда были распахнуты, и в их продолговатом проеме навстречу ему поднималось прекрасное, светлое утро.

Во дворе ни души. Прошел какой-то товарищ интеллигентного вида, с пухлым портфелем, в очках, поблескивающих оправой.

– Не скажете, который час? – поинтересовался Серик, чувствуя, как его расширяет от приподнятого настроения, как хочется пообщаться, по-дружески кого-нибудь похлопать по плечу, одарить улыбкой.

– Шесть пятнадцать, – произнес прохожий, взглянув на часы.

– Шесть так шесть, – улыбнулся Серик, достал сигареты, закурил, постоял, обласканный тихим, вынырнувшим где-то далеко впереди солнцем, лучи которого прозрачным рубиновым блеском побежали по влажному асфальту дорожек, засияли в лужах, покатались драгоценными сверкающими каплями с мокрой зелени

кустов и деревьев. В свежем бодрящем воздухе еще стояли запахи прошумевшей ночью грозы. «Нормальные пацаны эти Булкин и Юрчик», – подумал он, глядя, как дым с сигареты, извиваясь синими волокнистыми лентами, проваливается в небо. Он не помнил, как «Токайское» очутилось у него под кроватью, не помнил, как добрался домой. Алкоголь губительно влияет на память. У пьющего человека она напоминает дыру, куда проваливается всё, что происходило с ним, откуда он пребывал в несколько отрешенном состоянии, и на следующий день можно было только догадываться или выстраивать в мутной, трещавшей с похмелья голове всякого рода логические цепочки. К примеру, если под глазом оказывался синяк, после недолгих раздумий можно было предположить, что получен он был в результате какого-нибудь инцидента, оборванные штаны указывали на то, что, возможно, их покусала собака. А так как штаны в это утро были у него целы, а лицо в порядке, то и на сердце у него было спокойно, было радостно. Радовали и замечательная погода, и легкий и какой-то особенный хмель, разливающийся по жилам, радовали Булкин и Юрчик по прозвищу Симфония, оказавшие ему уважение. «Вот это кореша!» – подумал он горделиво. Понятно, это они привели его домой, уложили его в постель, стянули с него ботинки, которые и жена-то не всегда стягивала, оставили вино, да какое! А если не они, то кто же? Ну не милиция же, не ангелы же небесные!

Серик широко потянулся, зевнул, улыбнулся приятным мыслям и решил немного пройтись.

У двери соседнего подъезда, прислоненная к стене, алела крышка гроба. Серик насторожился: «У кого-то беда... Но у кого?» Понаблюдав за окнами. Нижние два этажа дома тонули в густой и непроницаемой зелени палисадника, третий ярко, звонко заливало солнцем, однако за окнами его, казалось, еще не просыпались. Откуда тогда крышка?

Дядю Колю он заметил не сразу. Свесив голову и опершись локтями о колени, тот сидел на скамейке у входа в подъезд. Потрепанным пиджачишком и разбитыми ботинками он почти сливался с кустами сирени, ветки которых, поднимавшиеся над штакетником, огораживающем палисадник, отбрасывали на него пятнистую тень.

– Здравствуйте, – сказал Серик, не решаясь спросить про крышку гроба, по которой, как будто ласкаясь о красную ее обивку с угольно-черным крестом посередине, потянулись первые бронзовые лучи, пробившиеся сквозь ветки деревьев.

Заговорил про лужи, которые то и дело приходилось обходить, чтоб не вымочить ног.

– Всю ночь поливало, – сказал Николай Николаич, по-прежнему сгорбившись и не поднимая сивой с залысинами головы.

– А это что?.. У кого это? – осмелился Серик, наконец, полюбопытствовать.

– Умер наш Коля, – чуть слышно проговорил Николай Николаич.

– Не может быть, я только вчера, только вчера с ним разговаривал! – взволнованно воскликнул Серик. – Вот как теперь с вами!

Потом добавил:

– Я щас, быстро...

И, трясая животом, неожиданно резво для его массивной комплекции, помчался на «пьяный» угол. В выброшенной вперед руке он сжимал брусочек мела, о котором вдруг вспомнил.

– Я щас, щас, – повторял он.

Из соседнего подъезда, мимо которого он пронесся, его окликнули:

– Эй, Серик, брат, ты куда? Магазины еще закрыты.

Николай Николаич же пожевал губами, казалось, еще более сгорбился, осунулся и угрюмо проговорил:

– Допились. Один в морге, у другого белая горячка... Разговаривал он с ним!..

Как же!..

Продравшись через кусты, щедро и холодно окропившие его каплями ночного дождя, Серик оказался у забора, под которым в траве сияла длинная, тонкая череда лужиц. Забор был чист и еще влажен, как будто доски его хорошенько промыли. Ни одного изображения, ни одного матерного слова. Там, где еще вчера был Капочка, было пусто. Лишь, едва белея на синей, линялой поверхности забора, на одной из досок виднелась основательно размытая, корявая линия, походившая на древесный сучок, с тремя коротенькими, уродливыми отростками, обращенными к небу.

Два дня Серик не пил. На третий, в день похорон, в доме у дядь Коли, за столом, уставленном водкой и поминальной кутьей, в обществе соседней и под кроткие, беспокойные взгляды жены своей, Гульзады, которая вернулась, стуча чемоданами и с ребенком, цепляющимся за складки ее юбки, чтобы в нелегкий для него час быть рядом, он все-таки позволил себе рюмку, потом другую, а после, наевшись приторно сладким вареным рисом вперемешку с черными, взбухшими ягодами изюма, уже не мог остановиться. Выбрался из-за стола, едва не опрокинув его, пьяный, багровый, с мрачным и нелюдимым выражением на лице, с тихой ухмылкой, от которой веяло чем-то недобрым, и начал плясать, молча и терпеливо показывая одному из гостей, как правильно выкидывать ногу при гопаке. Рубашка его выбилась, волосы растрепались.

Потом он вдруг разрыдался, схватился за голову и громко, на весь дом, заревел, проливая слезы:

– Это я, я во всем виноват, не нарисовал ему зонтика. Да-да, и его смыло. Друга моего, Капочку. Эх, Коля, Коля!.. Паскуда, сволочь!.. А ведь как он просил! Как просил! Нарисуй мне, говорит, зонтик! Нарисуй!.. Был бы у него зонтик, ничего бы и не случилось! Был бы жив! Жив! Это я, я во всем виноват!

Люди начали перешептываться:

– О чем это он? О каком это он зонтике?

– А вот о каком! – зло, отчаянно выкрикивал Серик весь в слезах. – Как в мультике: точка, точка, запятая, вышла рожица кривая!..

В руке у него опять появился брусочек мела:

– Вот! Вот! Специально купил!

Его пытались утихомирить, висли у него на руках, тащили к столу, заманивали водкой, солеными огурчиками, грибочками в маринаде, на которые он по пьяному делу всегда был падок, но Серик как будто ослеп и оглох одновременно.

– Как в мультике, как в мультике! – ревел он, размахивая мелом и марая им каждого, кто оказывался поблизости.

Потом на одного из гостей неожиданно накричал, кого-то вытолкнул вон, на лестницу, а представителя ЖЭКа, всеми уважаемого Хасана Абдуллаевича, человека робкого и воспитанного, лоб которого, как всегда, отсвечивал умом и печатью глубоких познаний в области жилищной юриспруденции, осмелившегося

заметить, что покойник вообще-то уже три дня как мертв, он схватил за грудки, приподнял от пола и начал носить по всей квартире, сшибая им табуретки, лавки, стулья, которые нанесли соседи, поколебав стол, за которым еще оставались гости, и стол, соответственно, подпрыгнул, накренился, ответил звоном поваленных бутылок. Среди приглашенных вспыхнула паника.

– Ты чё, придурок? Ненормальный? – кричал он в лицо Хасану Абдуллаевичу, побелевшему, как мел. – Живой, живой, на заборе!.. Точка, точка, запятая!.. Дя тебе в бубен дам!

Крики его сливались с криками других. Поднялся переполох.

– Белая горячка, – отставив тарелку с остатками супа, хмуро констатировал Николай Николаич и встал из-за стола. С мокрой, залитой скатерти ему натекло на штаны. Николай Николаич попытался вытереться салфеткой, что-то бормоча дрожащими в негодовании губами, начал поднимать и ставить на место опрокинутые бутылки, рюмки, тарелки с вывалившейся закуской.

Женщины опасливо стали покидать комнату, чтоб запереться в ванной или на кухне. Кто-то из них заверещал:

– Мужчины, что вы ничего не делаете? Вызовите скорую!

Гульзада, оставшаяся за столом в совершенном одиночестве, как будто окаменела.

– О, Кудавай, – шептала она, красная от стыда, – и этому человеку я отдала полжизни!

Увозили его, поникшего, окончательно уставшего, не оказывающего сопротивления. На лице его, рыхлом и толстом, с остановившимися кровавыми глазами, появилась даже улыбка, когда дюжие санитары, накинув на него смирительную рубашку, старательно и со знанием дела опутывали его по животу и ногам бесконечными холщовыми рукавами.

В психиатрической клинике, что на углу улиц Абая и Сейфуллина, которую алмаатинцы называют Желтым домом из-за традиционно бессменного колера его крепких старинных стен довоенной постройки, Серика поместили в палату интенсивной терапии. Провели курс лечения, и через неделю, посчитав, что он уже не представляет опасности, перевели в одну из общих палат.

Палата была переполнена больными, наголо остриженными, обряженными в ветхие, линялые полосатые пижамы, с одинаково унылыми и отрешенными лицами, главное занятие которых было ходить и ходить, ходить и ходить, натываясь один на другого, на стены, на двери, на спинки кроватей. Воздух в палате стоял спертый, душный, дурной, невзирая на открытые форточки в зарешеченных окнах, за которыми в непонятной тоске помахивали ветками огромные старые клены и вязы. В окна по несколько раз на дню, сморщив лбы и прикинув к решеткам, заглядывали санитары, врачи, охранники, производившие обход в поисках недосчитавшихся.

В такой же, как у других, пижамной паре, застиранной и линялой, состоявшей из узеньких штанов, не достигающих лодыжек и куртки, не сходящейся у него на животе, исхудавший и остриженный, Серик мало чем отличался от прочих. Но в продолжение еще нескольких дней, когда больные еще мирно похрапывали или же сопели, пуская слюну, с первыми утренними лучами он воровски крался по палате, падал на коленки и заглядывал под все кровати подряд. Глаза его были озабочены. На лбу капельки пота. Но лицо его с заострившимися скулами, казалось,

дышало вдохновением. Оставив одну кровать, он кидался под следующую. В глаза ему бросались то судно, темнеющее во мраке силуэтом гигантской ископаемой раковины, от которой благоухало, хоть нос зажимай, то пара стоптанных тапочек, похожих на комки глины, то, бывало, пронесется таракан, пересекая полосу света и как-то лихо, по-кавалерийски размахивая усом, то легкая паутинка, не замеченная шваброй санитарки, качнется веером под темными, продавленными ячейками металлической сетки. Но он-то знал, что всё это не то, что всё это постороннее что под какой-то из этих кроватей в тихом и смутном сиянии таится бутылка замечательного «Токайского», обклеенная вкруговую бронзовой этикеткой с рельефной лозой, выпирающей сквозь листья крупными, увесистыми виноградными кистями. Вино дорогое, какого он никогда не пил. «Кореша постарались, – думал он с удовольствием. – Кореша...» – уверенный, что вот-вот ее обнаружит. И вдруг замирал. Странный стишок доносился непонятно откуда: «Точка, точка, запятая – вышла рожица кривая. Палка, палка, огуречик...» – то ли из-за окон, где за решеткой в блеске утра покачивались деревья, темные и косматые, тревожно поскрипывающие, то ли уж из собственной его головы. И голос был тихий, будто бы замогильный. И ему хотелось плакать. Сердце его сжималось от горя, страшного, непостижимого горя. Большое и опавшее лицо его кривилось; он хлюпал носом и принимался с потерянным видом и всхлипываниями, вырывавшимися у него изо рта, шарить по обвисшим, узеньким карманам казенной пижамки, но что ему было нужно и в чем состояло горе его, он не понимал.



В декабре 2020 года отмечают:

80-летие

Берлибек АМАНБАЕВ, *поэт*
Турсынали РЫСКЕЛДИЕВ, *поэт*

70-летие

Несип ЖУНИСБАЕВ, *прозаик*
Николай ЗАЙЦЕВ, *поэт, прозаик*

50-летие

Дмитрий ИВАНОВ, *поэт, прозаик*

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

